




БОРИС ХАЗАНОВ

В САДАХ
ЗА ОГНЕННОЙ
РЕКОЙ



«Теперь ты в тех садах за огненной рекой...»

Владислав Ходасевич

Античная мифология оставила нам в наследство имена рек загробного мира, среди них — Флегетон, река всепожирающего подземного огня, где исчезают тени умерших.

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
КОЛЛЕКЦИЯ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ



Борис ХАЗАНОВ

В САДАХ
ЗА ОГНЕННОЙ РЕКОЙ

Санкт-Петербург

Алетейя

2014

УДК 821.161.1
ББК 82(2Рос=Рус)6 — 4
И73

Хазанов Б.

И 73 . — СПб.: Алетейя, 2014.

400 с. — (Серия «Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы»).

ISBN 5 — 89329 — 864 — 0

«Теперь ты в тех садах за огненной рекой...» (Вл. Ходасевич).
Античная мифология оставила нам в наследство имена рек загробного мира, среди них — Флегетон, река всепожирающего подземного огня, где исчезают тени умерших.

Новая книга прозы Бориса Хазанова включает произведения, написанные в последние годы.

УДК 821.161.1
ББК 82(2Рос=Рус)6 — 4

© Б.Хазанов, 2014

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2014

*Борису Марковскому,
другу и помощнику,
с благодарностью.*

Борис Хазанов

НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ: АЛЛА ГОРБАЧЁВА

Нас венчали не в церкви, не в венцах со свечами,
Нам не пели ни гимнов, ни обрядов венчальных,
Разбудил нас не свекор, не свекровь, не невестка,
Не неволюшка злая, разбудило нас утро.

Даргомыжский, Свадьба. (Слова А.Тимофеева)

I

«Я получил такое письмо. Милостивый государь...»

Меня могут спросить, зачем оно здесь понадобилось, разве не достаточно эпиграфа? Фраза о письме — это просто первая пришедшая в голову строчка повести Антона Павловича Чехова «Жена», не слишком известной, зато одной из моих любимых.

Я тоже однажды получил письмо... Давно было дело, но храню его по сей день. Оно напомнило мне один старинный эпизод моей жизни и воскресило забытое имя: Алла Горбачёва.

Память прихотлива, как движение облаков. Вот так же неожиданно всплыло это имя. Имя неотделимо от человека. Лишившись имени, вы перестаёте существовать. Но она, эта Алла Горбачёва, стоило мне только, её окликнуть, ожила. Я спрашивал себя: что сказала бы Алла, прочитав нижеследующие заметки? Осталась бы довольна? Как отнеслась бы к моим попыткам разгадать — ведь каждая девушка ведёт себя загадочно — смысл её поступков? (Впрочем, ответ содержится в её письме.) Так или иначе, получается, что я думаю о ней как о живой, — между тем как её давно уже нет на свете. Чудо воскрешения совершило её имя.

Вернусь к письму. Не уверен, надо ли его публиковать. Зачем?

II

Многоуважаемый... Извините, что обращаюсь к вам официально на «вы», по имени-отчеству. Мы с вами старые знакомые.

Пишет вам бывшая ваша подруга Горбачёва, по мужу Селижарова, Алла Владимировна. Я прочла ваш рассказ. Вы пишете: а что бы она (то есть я) сказала, узнав, что это о ней? Вот и хочу вам сказать.

Конечно, вы там кое-что прибавили, не все подробности совпадают с действительностью, Я и сама уже кое-чего не помню. Наверное, многое позабыла. Но я это говорю не в укор вам. Вы писатель, это ваше право. А может, нам лучше друг другу снова говорить: ты?

Не буду скрывать, твоё произведение меня разволновало. Столько воды утекло! Ты бы меня не узнал, я теперь совсем седая, а ты ведь и тогда был старше. У меня дети взрослые, внуки почти того же возраста, как я тогда была. А вот как сложилась твоя жизнь, если не считать того, что ты, наверное, стал знаменитым, — об этом ничего не знаю.

Повторяю, я не собираюсь ни в чём тебя упрекать, — может, я действительно такой и была, как ты меня описываешь, одно только скажу: ты утверждаешь, что был для меня какой-то особенной, романтической личностью, и, дескать, оттого я и прилепилась к тебе, твоя таинственность будто бы была главной причиной. А я тебе скажу, что дело было совсем не в этой таинственности, не в том, что ты меня как-то по-особенному заинтриговал, нет, я просто влюбилась, Ты был старше, опытнее, умнее; я тебя любила с первого курса и до конца, несмотря на то, что ты был довольно невзрачным на вид и для женщин непривлекательным, вообще не был настоящим кавалером, — да и сам ты рассказываешь об этом вполне объективно. Я любила, но тебе это было не понять, никакого счастья от этой любви, от моей преданности мне не досталось. Ты даже представить себе не мог, что я пережила и даже плакала по ночам. Прямо скажу тебе: такой любви ты не был достоин. Потому что ты, мой друг, правильно говоришь о себе, что любить, как любят, по-настоящему, всем сердцем, — ты не умел. А вот что касается твоей скрытности, я одного не понимаю. Зачем тебе надо было всё скрывать? Ты боялся, что узнают о твоём прошлом, ну и что?.. Конечно, тогда было другое время, но прятаться от меня, когда ты видел, как я к тебе отношусь, — вот этого я тебе никогда не прощу. А я-то, идиотка, не могла догадаться, и спросить было не у кого...

Но раз у тебя была такая непробиваемая тайна, которую ты не удосужился мне открыть, не доверял мне, сообщу тебе и свой секрет. Я сейчас перечитала снова последнюю страницу. Ты говоришь: я узнал, что она боялась боли. То есть по-русски — дефлорации. Чуть какая-то. Чего я действительно остерегалась, так это ведь дело обыкновенное — боялась забеременеть... Остерегалась, да не остерегалась. Мы уже с тобой жили целых три месяца, пока не кончился семестр. Предохраняться не умели. А ты ничего не замечал, надо было готовиться к сессии, я тебе ничего не говорила. А когда стало ясно, уехала к маме в Селижарово. Городок, а вернее, посёлок, небольшой, это у нас самая частая фамилия, чуть не в каждом доме живут такие. И я теперь тоже Селижарова, вышла замуж не сказать, чтобы удачно, за человека, с которым мы в школе учились в одном классе. Не хочу о нём рассказывать.

Ну так вот. Раз уж я тебе написала...

Дома я натерпелась. Роды были тяжёлые, а самое ужасное, мальчик твой — ведь у нас был сын, сын был! — помер. Вот сейчас сижу и пишу тебе. Столько лет прошло. Сижу и утираю слёзы...

III

Небольшое предуведомление. Забегу вперёд. У меня есть повесть под названием «Возвращение», которую я давно не перечитывал, с выдуманным сюжетом, Повесть эта, увы, пронизана неисцелимой тоской. Главный герой, он же рассказчик, — человек, которого можно охарактеризовать как духовного инвалида. Вот таким я и был. А что это вообще-то значило? Можно ли нагнать ушедшее время? Пруст, наверное, умел. Как бы то ни было, нечто автобиографическое, возможно, вкралось в моё произведение. Однако ни утверждать, ни опровергать ничего не стану.

Ну вот; а теперь, как сказано где-то, если не ошибаюсь, у Достоевского, — к делу.

IV

Долгое время я не замечал Аллу Горбачёву в толпе девиц, составлявших большинство студентов нашего курса; мне казалось, их было слишком много. Я был старше почти всех; это обстоятельство, как и то, что я был озабочен исключительно собственной,

никому не известной судьбой, держался особняком и старался лишь никому не бросаться в глаза, не располагало к любовным приключениям, да и не давало мне шансов нравиться; новая для меня обстановка усугубляла мою природную застенчивость. Я и прежде никогда не питал иллюзий касательно своей внешности, на мой взгляд невыгодной, а теперь и вовсе был к ней равнодушен. Юность осталась там, откуда я приехал. Мне исполнилось 27 лет. Кажется, и волосы начали уже редеть у меня на макушке. Я благословлял судьбу, разрешившую мне сдать приёмные экзамены, поступить в институт.

Помню, с чего началось, — совершенно незначительный эпизод. Я стоял в коридоре аудиторного корпуса у окна — она ко мне подошла. Невысокая, полноватая и довольно широкобёдрая для своих лет, в очках, в коротком, как тогда носили, платье до коленок, круглое, нежное и доверчивое лицо с каштановой чёлкой на выпуклом лбу. Я даже не знал, как её фамилия. Лекция только что кончилась, громко переговариваясь, весёлый народ спускался по широкой лестнице к выходу. Мне тоже пора было идти, трамвай ходил редко, приходилось долго добираться до окраины, где я снимал комнатку в полудеревенском доме у глухой одинокой хозяйки. Я медлил, о чём-то размышляя; тут она появилась. Спросила, кого я жду.

Никого, сказал я. Последовал обмен незначительными репликами, я отвечал нехотя. Она отщёлкнула крышку своей «балетки» — так назывались плоские овальные чемоданчики, которые почему-то употреблялись вместо портфелей, вынула и показала мне фотокарточку. «Похожа я, — спросила она, — на еврейку?»

Дурочка, подумал я, сбитый с толку нелепым вопросом; впрочем, смелость, как потом выяснилось, была в характере Аллы. В те времена слова еврей, еврейский относились в нашей стране к числу непроизносимых. Очевидно, она решила, из-за моей не оставлявшей сомнений фамилии, что мне должны быть по вкусу только иудейки. Означал ли её вопрос, что ей хотелось мне понравиться? Вместо ответа я пожал плечами. Видя, что я тороплюсь, странная девушка двинулась вслед за мной. Оказалось, что ей нужно в ту же сторону.

Дождались трамвая, втиснулись в вагон. Толпа, колыхаясь, подталкивала нас друг к другу. Наконец, доехали: конечная остановка. Я спросил:

«Куда ты теперь?»

«Никуда!»

Что-то вроде пролога к дальнейшему послышалось мне в этом весёлом ответе.

Несколько минут мы топтались на остановке; подошёл, возвращаясь, рассыпая искры, визжа колёсами на повороте, тот же трамвай. «Мы увидимся?» — спросила Алла Горбачёва, сунув мне чемоданчик, и прыгнула на площадку головного вагона. Я вернул ей балетку. Она помахала мне.

Так состоялось наше знакомство и продолжалось как бы по инерции — я чуть было не сказал: по обязанности. Правило, по которому ухаживанье должно быть как езда на велосипеде, — перестанешь крутить педали, и велосипед повалится, — к нам как будто не относилось. Да и кто за кем ухаживал? Ясно было, по крайней мере, что, вопреки тогдашнему пуританскому этикету отношений между молодыми людьми, инициативу берёт на себя она. Появлялась, словно невзначай, не стесняясь отвлечь меня от занятий в библиотечном зале. Я поднимался... Не сговариваясь, мы усаживались в институтском коридоре. К окнам были придвинуты скамейки, спинкой к проходу, так что снаружи не было видно, кто там сидит. Всё ещё длилась прекрасная, приглушённая, солнечная среднерусская осень.

Как-то получалось, что после лекций мы выходили вместе, усаживались в маленьком парке перед павильонами Путевого дворца, известной достопримечательности нашего города, весьма древнего, но в котором монгольское иго и распри князей, не говоря уже о революции и двух войнах, пощадили не так уж много памятников старины. Дворец построен в восемнадцатом веке и чудом уцелел во время ожесточённых уличных боёв ранней осенью злощастного Сорок первого года. Говорят, императрица Екатерина останавливалась здесь на пути из Петербурга в Москву. Аллу Горбачёву интриговала моя биография. Я отмалчивался, переводил разговор на другие темы. Но это лишь разжигало её женское любопытство. Похоже, моя уклончивость повышала мои акции, чего, клянусь, я вовсе не добивался. Постепенно я стал для неё романтической фигурой, она подозревала в моём прошлом любовную историю, загадочную тайну. Господи, думал я, если бы бедняжка знала, с кем имеет дело!.. Скажи я правду, кто я такой, откуда приехал, она бы отшатнулась от меня.

К несчастью, мне придётся сделать отступление. Тайна тут действительно была, причем, сугубо государственная. Как известно, мы

жили в стране, которая поставила перед собой великую цель: создать Нового Человека. Думаю, что это предприятие увенчалось успехом. Примером может служить пишущий эти строки. В конце концов я и сам был, в числе столь многих, этим новым Адамом. Скажу просто: и меня тоже воспитало не государство, а сверхгосударство, то есть высший правящий институт, всем известный, так что ничего нового я о нём не скажу. Говорю, естественно, о государственной безопасности, нашей опричной Тайной Полиции, без которой немыслимы ни история, ни действительность страны.

Так что ларчик открывался просто: великий государственный секрет, собственно, и был секретом моей жизни, Глупо и неосторожно было бы объяснять, да ещё кому? — наивной, ни о чём не подозревающей девочке, — что если я уцелел, то случайно, по недосмотру перегруженных делами начальств. Если меня отпустили, то по недоразумению: всё это потепление простоит ненадолго, грянут новые морозы. Место моё на лагерных нарах ждёт меня, миска с баландой мне обеспечена моё пухлое досье везде будет следовать за мной, где бы я ни объявился. В любую ночь за мной могут придти, и я снова провалюсь в люк и бесследно исчезну. Не зря говорится в народе: кто однажды отведал тюремной баланды, будет жрать её снова!

Но довольно об этом. Перейдём лучше к другим, лучшим материям и временам.

V

Как-то раз погожим сентябрьским днём, когда мы сидели по обыкновению друг против друга, она в беретике, в полураскрытом пальтеце и ещё несношенном коричневом школьном платье, я в старой студенческой тужурке покойного отца, Алла решила на пробный шар. Я бы назвал его репетицией. Откинув полы пальто, она немного приподняла платье и положила руки на открывшиеся моим глазам круглые, тесно составленные колени, обтянутые чулками из шелковистой, слегка поблескивающей ткани, которая тогда называлась фильдеперсом.

Непроизвольно я скользнул взглядом по краю её одежды, встретился с её взором: нечто загадочное застыло в её, увеличенных стёклами очков серо-серебряных глазах: решимость, самозабвение? Или вызов? Постепенно её ладони под подолом передвинулись выше, она как будто искала приласкать себя. Фантастическая, до-

гадка, пронеслась у меня в мозгу: моя подруга *влюблена*. Поглощенная собой, она была влюблена — не в меня, само собой, ибо я служил для неё скорее поводом, — а в себя, в своё тело; она *смотрится* в меня, как смотрятся в зеркала, любясь своим отражением, и хотя бы оцупью, хоть на минуту, видит *себя всю*. Модильяни говорил Ахматовой, что хорошо сложенной женщине не следует быть одетой, — была ли Алла Горбачёва хорошо сложена? Мне предстояло оценить это позже... Сейчас, во всяком случае, мысленно она видела себя моими глазами, видела себя такой же прекрасной, какова она есть, видела — осмелюсь ли выговорить этот пароль? — видела себя обнажённой.

Пальцы Аллы вновь коснулись лоснящегося шёлка. Нужно было нарушить затянувшееся молчание. Она спросила — я вспомнил, — тем же притворно-робким, заискивающим тоном, каким спрашивала, похожа ли она на еврейку:

«Красивые у меня ноги?»

«Красивые», — сказал я.

«А так?» — и приоткрыла занавес ещё на самую малость.

«Погладь меня. Я разрешаю». В этом «разрешаю» было сознание власти. Это была неслыханная отвага. Она переживала как некое откровение свою созревшую телесность. Постигнув, что сделалась, наконец, *самой собою*, она стала Колумбом своего тела. Ибо ещё одно открытие ожидало её: сознание собственной власти. Женственность — это власть. Позже она призналась мне, что простаивала часами перед зеркалом. Откуда, при всей тесноте и скученности нашего жилья, у неё взялось трюмо такой величины, чтобы поместиться в нём целиком? Наверяд ли у её родни нашлась бы отдельная каморка для свиданий с самой собою — стоять вот так, без всего, перед волшебным стеклом, не боясь никого, обводя руками округлившиеся бёдра, поворачиваясь вокруг себя. Мечтала ли она о мгновении, когда кто-то чужой овладеет ею? Думала ли о моей скромной персоне? Ей должно было казаться естественным, что, влюбившись в себя, она старается влюбить и меня... И всё-таки должен признаться: не так-то просто было оставаться равнодушным к этой ауре девической прелести, к сиянию аметистовых глаз, которое излучала восемнадцатилетняя Алла Горбачёва.

Её имя! Опять держу её письмо перед глазами. И снова, едва лишь её назвал, образ её воскресает передо мной. Скажу больше. Встречаясь с ней в те годы, я подчас невольно видел её такой, как только и *нужно* было её видеть. Какой же я был идиот! Добыча

сама буквально шла мне в руки. А она? Право, не требовалось усилий, чтобы разгадать её загадку. Ничего загадочного я в ней сейчас не вижу. Повторюсь, её наивная тактика была не чем иным, как репетицией пьесы, в которой она должна была стать главной героиней и режиссёром. Встречаясь с ней, я подчас невольно видел её такой, какой только и можно было, да что я говорю, *нужно* было её видеть: без маскирующей одежды. Разгадка её странного для меня, точнее, для тех лет, пуританского поведения, её тактика и стратегия, — были до смешного просты.

Незабываемая минута оживает передо мной: мы вдвоём на повернутых друг к другу садовых скамейках, за нами крылья крепости, где ещё сравнительно недавно в изукрашенных залах гудел смех и говор, где шумело парчовое платье русско-немецкой государыни, семенили её атласные туфельки, звенели шпоры кавалергардов, — ради чего? Такой вопрос бессмысленно ставить перед историей. Ради того, чтобы спустя три или четыре десятилетия, такую же погожей осенью, среди свиста и грохота сыплющейся штукатурки площадь перед фасадом была завалена окровавленными телами защитников и завоевателей? Не для того ли, чтобы девушка в очках, которые удивительно шли к ней, к её хрустально-аметистовым глазам, девушка с едва наметившейся грудью, в школьном платье, отважилась приподнять подол? Что такое был этот полудетский эксгибиционизм, пустыньский анекдот о том, как юное существо, набравшись храбрости, показало мужчине малую часть себя — коленки? Жизнь, просто жизнь. Безо всяких забот о том, что так высокопарно именуется смыслом и разумом истории. Где он, этот разум?

VI

«Дай-ка мне...» Повинуясь её направляющим движениям, я ощущаю тёплоту её тела. Она произносит вполголоса, еле слышно: «Чуть повыше...» И тотчас она отбрасывает мою ладонь. Колени скрылись под шерстяным платьем. После чего я слышу её лепет:

«Ты меня любишь?»

«Да».

«Правда?»

«Правда».

«Ещё погладь...».

В высоких зеркальных окнах за нами стоит серебряное небо. «Холодно!» — вздрагивает она и расправляет занавес платья на коленях. И следом за ним занавес немоты опускается над нами. Разумеется, она ждала других слов. Я должен был сказать их *первым*. Каких слов? Я не умел, не смел их произнести.

Она заговорила (мы, впрочем, эту песню уже слышали):

«Что я для тебя? Ты мне никогда ничего не говоришь... Ты меня презираешь».

Я возражаю, постаравшись придать уверенности своему голосу:

«Это неправда».

«Ничего о себе не рассказываешь...».

«Что же я должен рассказывать?»

Снова молчание.

Она: «Я всё хочу тебя спросить... Кем ты вообще был?»

Я: «Никем. Работал...»

«У тебя были женщины?»

Я: «Что за вопрос, Алла...»

Она: «Нет, я спрашиваю, Были?»

Я пожимаю плечами. «Были. Ну и что?».

«Много?»

Я думаю. Или делаю вид, что задумался.

«Нет».

«Ты их любил?»

«Не помню».

«Какие они были?»

«Забыл, Алла, честное слово...».

«Я не хочу, чтобы ты меня забывал».

«Разве мы расстаёмся? Не забуду».

«Я хочу быть твоей женщиной», — выпалила она.

«Ты пока ещё не женщина»

«Не знаешь, что значит быть *твоей женщиной*?»

«Приблизительно».

«Я не хочу быть *приблизительной*!»

«Спасибо».

Я усмехаюсь. Я не чувствую ни комизма этого диалога, ни собственной бестактности. Серьёзность Аллы, решимость, с которой она, словно бросаясь в воду, произнесла эту фразу, быть может, самую важную в её жизни», — смеяться над ней было бы кощунством. Честнее было бы спросить: а как *ты* себе это представляешь?

Мог ли я вообразить себя — об этом, кажется, уже говорилось — избранником, юного и во всех отношениях не подходящего для меня существа? Сопротивляться её чарам... Проклятая моя судьба! Что же я мог, что *должен был* ей ответить? Что я, как Онегин Татьяну, не люблю её? Боюсь *связываться*? Допустим, что-нибудь такое произойдёт. Что нам останется делать дальше? Прятаться от всех, видаться изо дня в день, делая вид, что между нами ничего нет. Крутить педали велосипеда... Она была бы не против... Наконец, — что оказалось бы, не так уж сложно, — *сойтись*? Одно из отвратительных словечек тех лет. Быт, неумолимая русская проза вторгались в нашу молодость. Вечно искать случая уединиться. Но где, как? Куда ни сунешься, везде народ. Всё переполнено. Вечная проблема молодёжи в нашей такой обширной но невероятно тесной стране — никакой возможности куда-нибудь податься, найти уголок, где можно остаться вдвоём. Без посторонних глаз обняться, поцеловаться — где? Разве только в телефонной будке. В подъезде, на лестницах, пахнущих кошками. На каком-нибудь чужом, заброшенном дворе. Повсюду не обещающая ничего хорошего фуражка милиционера, везде хищные глаза караульных старух, сидящих на страже нравственности. Последнее убежище — кино, душный, переполненный зал и робкие встречи рук в темноте. Сеанс окончен. А дальше куда? Ни у меня, ни у неё не было домашнего угла. Алла приехала учиться, рассчитывая пожить — тоже, само собой, недолго — у дальних родственников; я надеялся получить койку в студенческом общежитии, которое строилось уже который год.

Так-то оно так. И, однако, всё сказанное, все доводы (или отговорки), всё было — вот в чём дело! — полуправдой. Всего лишь полуправдой.

Нечего и говорить о том, что условием прочной связи или совместной жизни, каким бы ни воображала себе Аллочка наш будущий союз, — неперменным условием было ответное чувство. Любовь была для Аллы вероисповеданием... Но чем и как я мог ей ответить? Вера была её великим преимуществом, вера возвышала её надо мной. Тогда как я был атеистом любви. «Никогда мне ничего не говоришь». Сколько раз я слышал всё тот же упрёк. Всегдашний вопрос: ты меня любишь? Конечно, говорил я. Но всё это было *не то*. Не та интонация. Недоговорённость. «Почему ты молчишь?» — Ответить (и это было бы сущей истиной): «Стесняюсь»?

«Господи, кого ты стесняешься? Меня?»

Нет, не того от меня ждали. Я был старше других, следовательно, казался солиднее, иные девицы недвусмысленно выказывали желание сблизиться со мною. Я, однако, был «занят», и моя девочка довольно бесцеремонно давала им это понять. Мне кажется, я не подавал повода к ревности. Тут, однако, вторгся ещё один мотив.

VI

Помню, уже после войны мне однажды попался на глаза учёный труд о новом неизвестном заболевании; автор присвоил ему название *concentration camp disease*. Медицина меня не интересовала. Внимание привалёк разве только заголовок. Речь шла о бывших узниках Освенцима, Бухенвальда, Берген-Бельзена и так далее, и даже, кажется, в нарушение строжайшей секретности, о советских лагерях принудительного труда. Кроме (это уж само собой) высокой смертности, долгие годы после освобождения у обследованных лиц регистрировались необъяснимые хронические расстройства и общее, нарастающее физическое и духовное истощение. Любопытное, кстати говоря, подтверждение и усовершенствование теории Нового человека. Называлось оно, это истощение, как уже сказано, болезнью концентрационного лагеря. О ней защищались диссертации, присуждались научные степени.

Теряясь в бесплодных догадках, Алла Горбачёва домогалась ответа, были ли у меня любовные связи. Однажды она огорошила меня одним деликатным вопросом, и я чувствовал, каких усилий ей стоило преодолеть стыд и неловкость, чтобы задать его:

«Ты, наверное, болен?»

«Болен, чем?» — переспросил я со свойственной мне тупостью. Наконец, до меня дошло. Не правда ли, моё поведение, прямо-таки наталкивало на ответ. Импотенция! Не об этом ли она подумала? Выговорить это слово, однако, не решалась.

Я пробормотал:

«Ты хочешь сказать, что я... неспособен?..»

Она вопросительно — не с притворным ли недоумением? — взглянула на меня. Я вынужден был повторить вопрос. Реакция последовала совершенно неожиданная. Плечи Аллы затряслись. Она зарыдала. Оставалось только догадываться; скорбит ли она от сознания неосуществимости любви или решила, что нанесла мне ужасное оскорбление?

Я растерялся. Она бросилась мне на шею. Продолжая всхлипывать, умоляла меня о прощении. Ей, оказывается, и в голову ничего такого не приходило. Но теперь она поняла. Она не еврейка. А мне по еврейскому закону положено выбирать себе только своих. Мне нравится другая. Она давно уже догадывалась. Соперница строит мне глазки не первый год.

«Кто ж это такая?»

Я расхохотался — было названо некое постороннее имя.

Вот такая и должна быть, продолжала она: стройненькая, ножки тонкие. И зад. Чтобы зад был не такой, как у неё, Аллы. (Показала обеими руками нечто грандиозное.)

«Прекрасно, — сказал я. — Будем считать это твоим преимуществом».

Ну и пусть. Пусть я выбираю себе кого хочу. Так, как она, Алла, любит меня, никто никогда любить не будет.

«Несмотря на...?»

«На что?»

«Ты же говорила».

«Ничего я не говорила! Ты просто ничего не понял... Ты вообще ничего не хочешь понимать», — заключила она.

И, может быть, была права.

VIII

Не берусь судить о медицинской стороне дела. Таинственный недуг именовался, как уже сказано, болезнью концентрационных лагерей. Понятия не имею, существует ли такой клинический термин. В статье говорилось о хронической инвалидности; таким инвалидом я и был. Паспортным инвалидом. Дело в том, что в моём паспорте, том самом «молоткастом, серпастом» (читайте, завидуйте!) скрывался тайный предатель — к сведению самого мелкого начальства в каждом учреждении, первого попавшегося мильтона, готового сцапать меня на улице или барышни в паспортном столе — особая пометка, лишавшая меня всех прав. Что превращало меня одновременно и в духовного инвалида.

Обстоятельство это отразилось, я думаю, на злополучном моём ремесле писателя. Найдись где-нибудь литературный критик, который взялся бы за неблагодарный труд интерпретировать мои сочинения, он тотчас бы заметил, что всю жизнь имярёк толчёт воду в ступе. Его интересует одна единственная тема. «Органы», всеоб-

щая и всевидящая слезка, застенков, лагерь. Три кита моей крамольной антипатриотической словесности, на них же держится и держава. Без них, без системы государственного насилия и принудительного труда она, эта держава, быть может, не просуществовала бы и нескольких десятилетий, без них непредставима и вся её нагая действительность — многовековая наша история. Так что критик-клиницист уверенно поставил бы диагноз сочинителю, о коем здесь речь: он сказал бы, что я духовный инвалид, заболевший этой — что за дурацкое слово — «тематикой». Подозреваю, однако, — не я один.

IX

Какую же, стало быть, тайну хотела выведать у меня наивная девочка, бедняжка Алла Горбачёва? Господи, о чём речь? Если я и сообщил бы Аллочке что-нибудь новое, то всего лишь для неё. Конечно, с того времени, когда девушка-почтальон неожиданно вручила мне заказное от некоей Селижаровой из городка Селижарово, утекло немало воды. Тайна оказалась действительностью и перестала быть тайной. Ничего нового я не поведаю и сегодня. И всё же: сумел бы я тогда, хватило бы у меня смелости рассказать вслух о том глубоко засекреченном, призрачном мире, одного упоминания о котором было достаточно, чтобы приравнять осведомлённость о нём к государственному преступлению? Рассказать об отсутствующих на карте краях, какими изобилует наша страна, словно нарочно созданная для лагерей и ссылок, о тех гиблых краях, куда изо дня в день, из ночи в ночь, грохоча на стыках и посылая вперёд слепящие струи прожекторов, тяжёлые восьмиколёсные локомотивы с красной звездой на брюхе, тащили, невольников в доотказа набитых беззаконных клетках растянувшихся на полкилометра стальной вагонов? Вспоминать, рассказывать — кому? Зачем? Я онемел. Вдруг стала очевидной бессмыслица подобных откровений. Кому это интересно? А главное, успел ли я настолько привязаться к Алле Горбачёвой, чтобы бояться её потерять? Может быть, я её и любил, — так, как умел. Но *уметь любить!* — она была права, и, перечитывая её письмо, я не устаю изумляться её женской пронизательности, — да, права, я от этой способности радикально исцелился. Я больше не умел любить. Я попросту забыл слова любви. У меня не хватало отваги их произносить. В тех местах, откуда я прибыл, разучаются любить. Та-

ков был урок лагеря. В нём заключался великий смысл воспитания Нового человека. Миллионы, тех, кому удалось выжить, прошли эту школу, изменившую — кто посмел бы это отрицать? — нрав и облик всего народа. Стоит ли продолжать?

Одно могу сказать, вернее, повторить сказанное: я боялся. Молчание сковало меня, оттого что я боялся. Отнюдь не нового ареста и расплаты за разглашение государственной тайны, о, нет. Но когда ещё сравнительно недавно вскоре после моего досрочного, мало кем ожидаемого возвращения из *тех мест*, я однажды ненароком столкнулся с бывшим другом, он шарахнулся от меня прочь. И такие случаи повторялись. Словно я был выходцем с того света. Что, собственно, не противоречило реальности. Делали вид, что не узнают меня, и в самом деле не узнавали. Страх иметь дело с такими, как я, риск вызвать подозрение, будто общаешься по-прежнему с такими людьми. Нас больше не существовало.

Короче, судьба послала мне незаслуженный подарок, я мог просто его лишиться. Узнав, кто я такой на самом деле, что меня ждёт, какое будущее, — а ведь никакого будущего у меня не было, я был заклеимён на всю жизнь, — узнав обо всём этом, Алла меня бы отвергла. Вот чего я боялся больше всего.

Х

Я жду перед домом. Если бы меня спросили, я ответил бы, что, быть может, ожидал этой минуты всю жизнь. Алла выходит на крыльцо, в руках у неё портфель — «балетка» и плетёная корзина с провизией, она озирается — кто-то подглядывает в одном из окошек с резными деревянными наличниками. Алла стоит на крыльце. Это всего лишь девушка с заурядным, по-русски круглым и нежным, слегка скуластым лицом, с каштановой чёлкой на выпуклом лбу, невысокая, наклонная к полноте и несколько широкобёдрая для своих лет, в очках, в коротком, как тогда носили, платье до коленок, точь-в-точь такая, как в тот день, когда она показывала мне фотографию и спрашивала, похожа ли она на еврейку.

Мы храним торжественное молчание. Лес встречает нас тишиной и прохладой. Солнце едва пробивается сквозь густой, весь в крапиве малинник. Лес дышит судьбой. Мы отыскиваем поляну.

«Подожди меня, — говорит она, — я сейчас...»

Я один. Её нет.

Что-то напоминает мне моё лагерное отечество. Высокий тын, ряды колючей проволоки, вышки и прожектора — другого отечества у меня нет. Проклятая, липкая и прилипчивая, как бумага для ловли мух, не умеющая вовремя остановиться память. И снова всё одно и то же, и всё некстати. Морозные созвездия над избой в столетней деревеньке, куда я, бесконвойный, никому не ведомый, захаживал по ночам погреться возле одинокой безмужней хозяйки. Всплыл ни к селу ни к городу настойчивый вопрос Аллы о женщинах.

Я вернулся. Алла Горбачёва сидит, поджав колени, на траве перед расстеленной подстилкой с едой и посудой. Два венка из лесных цветов украшают Аллу, один на ней, другой она возлагает на голову мне. Она ложится на спину, составив колени, её глаза устремлены на верхушки сосен и синие небеса, она подтягивает край одежды, не стараясь утаить, что под платьем на ней ничего нет.

Нас венчали не в церкви, не в венцах со свечами...

2014

ПРИБЫТИЕ

Ты станешь мною и моим сном.

Хорхе Луис Борхес

Я надеюсь, что мне простят манию бесконечно пережёвывать прошлое, болезнь закатных лет, чьё неоспоримое, хоть и незавидное, преимущество — способность жить одновременно в разных временах.

Я привык поздно ложиться, это объясняется страхом бессонницы, стараюсь дотянуть до такой степени усталости, когда, улёгшись, тотчас засыпаешь. К несчастью, это удаётся не всегда, начинаешь ворочаться с боку на бок, зажигаешь свет, снова гасишь, угнетают бесплодные мысли, унылые песни продолговатого мозга, давно истоптанные дорожки моей литературы. Глаза мои закрываются, и в последующие полтора часа я вижу сны. Но это лишь предисловие, а сейчас я хочу сказать о другом.

Недавно я прочёл такое признание в одном интервью Лукино Висконти: «Я обращаюсь к прошлому, оттого что настоящее скучно и предсказуемо, а будущее пугает своей неизвестностью. Зато прошлое предрекает настоящее и, глядя в прошлое, мы, как в зеркале, можем увидеть черты сегодняшнего дня».

И наши собственные черты, добавил бы я. Конечно, «ретро» в фильмах славного режиссера мало похоже на прошлое, к которому льнёт моя память. И всё же я подумал, что слова эти могли бы предварить мой рассказ. А на следующий день, не успев я приступить к работе, произошло знаменательное совпадение. Девушка-почтальон принесла конверт с маркой недавно учреждённой республики. Под грифом архивного управления и датой трёхмесячной давности сообщалось, в ответ на мой запрос, что сведений о гражданке Приваловой Анне Ивановне, 1924 года рождения, в актах гражданского состояния не обнаружено. Никакой гражданки Приваловой, стало быть уже не существовало.

Спрашивается, что же заставило меня разыскивать Ньюру, ворошить былое, которого не было? Известие, как уже сказано, добралось до меня три месяца; я успел забыть о своём запросе. Но почему-то ответ меня не убедил, я читал и перечитывал его; прошлое вцепилось в меня. Я почувствовал, что оно меня не отпустит. Только этим могу объяснить моё решение.

На всякий случай я предупредил соседей и немногих друзей, что уезжаю далеко и надолго. Впрочем, не так уж далеко. Старинное здание Казанского вокзала, которому архитектор придал профиль столицы некогда существовавшего ханства, возродило в моём воображении те первые, жаркие недели июля сорок первого года, когда пропаганда уже не могла скрывать тот очевидный факт, что вражеская армия приблизилась к Москве. Толпа женщин с детскими колясками, узлами, чемоданами запрудила перрон, перед которым стояли открытые пульмановские вагоны с наскоро сколоченными полатами из неоструганных досок. Матери звали охрипшими голосами потерявшихся детей, репродуктор что-то вещал, невозможно было разобрать ни слова. Раздался пронзительный свисток, впереди невидимый паровоз тяжело вздыхал, разводя пары. Гром столкнувшихся буферов прокатился вдоль состава и всколыхнул толпу; началась посадка. Мой отец, несколько дней назад записавшийся в народное ополчение, каким-то образом добрался до вокзала, чтобы успеть попрощаться с нами. Он стоял перед раздвижной дверью вагона и махал рукой мне, моей названной матери и маленькому брату. Вагон дёрнулся, колёса взвизгнули под ногами, отец отъехал с толпой провожающих, с тех пор я его никогда больше не видел.

Путешествие длилось несколько недель. То и дело эшелон с эвакуированными останавливался, пережидая встречные поезда с цистернами, армейскими грузовиками, зачехлёнными орудиями и сидящими на плаформах наголо остриженными новобранцами, которым не суждено было вернуться. Наконец, стиснутые, как в клетке, измученные тряской, духотой, неизвестностью, толкнувшись взад-вперёд несколько раз, мы остановились посреди большой, забитой товарными и пассажирскими вагонами станции; оказалось, что прибыли в Казань.

Итак, мне пришлось проделать заново весь путь — ведь пригрезиться может только то, что дремлет в подвалах памяти. Всё происходящее казалось теперь естественным; повелевал неведомый

рок; лица и эпизоды сменялись в несжимаемом, как вода, времени. Предстоял решающий шаг. Всё ещё колеблясь, не обращая внимания на окружающих, — объяснять что-либо мачехе и братику было бесполезно, — попросту забыв о них, — я выпрыгнул из вагона. За спиной у меня был рюкзак с каким-то скарбом, я очутился на песке между путями и уже не помнил последний день, толчею и суматоху московском вокзале, паническую посадку. Лишь при мысли об отце глаза мои наполнялись слезами — стоило только вспомнить, как он стоял в толпе и махал рукой. Я знал (знание будущего — привилегия всё того же закатного возраста), что он не вернулся и никогда не вернётся из заснеженных лесов между Вязьмой и Смоленском, где окружённое врагом, брошенное на произвол судьбы штабным начальством, заблудилось и стинуло всё их состоявшееся из штатских, злополучное войско.

Мне повезло, я отыскал в незнакомом городе, блуждая наугад, речной порт. Последний раз я ел в вагоне, но голода не чувствовал, рассчитывал где-нибудь подкрепиться в пути. Теперь я уже знал, что ехать осталось недолго.

Солнце склонялось к далёкому холмистому берегу, оставляя на воде сверкающий след. Двухпалубный колёсный теплоход «Алексей Стаханов», наименованный так в честь забытого героя труда, шёл вверх по широкой Каме. Сидя в соломенном кресле на палубе, я задремал под шум гребного вала и очнулся оттого, что шум и плеск прекратились. Мне вспомнилось, что следующая остановка называлась Набережные Челны, это была моя ошибка. Судно покачивалось у дебаркадера пристани Красный Бор. Я обрадовался, я был уверен, что вижу сон во сне, и оказался, в сущности, недалёк от действительности: вопреки всякой логике то была цель моего путешествия. Надо было торопиться. Вместе с другими пассажирами, подтянув лямки рюкзака, я сошёл по трапу и двинулся по главной улице, миновал нашу школу, преодолев искушение заглянуть в районную библиотеку, где был когда-то единственным и регулярным посетителем, — и оставил село.

Между тем быстро темнело; я пожалел об оставшемся в Москве пальто; это была та самая дорога, по которой в тёмные осенние вечера, рискуя потерять галоши в грязи, зимой проваливаясь в сугробы, я плёлся из школы к больничному посёлку. И снова обрадовался, завидев знакомый забор и ворота, — они были открыты. Тотчас, едва только я вспомнил школу и зимние возвращения, пошёл снег.

В сумерках я подошёл к одному из двух барачков для персонала; сходство с нашим бывшим жильём было так очевидно, что мне почудилось — кто-то поджидает меня на соседнем крыльце, в пальто и платке на голове. Разумеется, никто меня не ждал. Мачеха моя работала медсестрой, ей было пора на дежурство, а она всё ещё оставалась в эшелоне эвакуированных. Подождав немного, я снова увидел женскую фигуру на крыльце. Память потешалась на мной. «Вам кого?» — спросили оттуда, когда, пройдя через дощатые сени, стряхнув с себя и оттоптав с городских ботинок снег, я толкнул входную дверь.

Я еле удержался, чтобы не рассмеяться. Уж очень всё произошло как по-писанному. Правда, там не оказалось той, которую я искал. Невысокая женщина в юбке и вязаных носках на босу ногу, со спущенными с голых плеч бретельками ночной рубашки, поспешно выпрямилась перед табуретом, на котором стоял таз с водой, схватила лежащее рядом мохнатое полотенце, и стала вытирать энергичными движениями, обнажив тёмные подмышки, мокрую черноволосую голову «А-а! — воскликнула она, поворачиваясь с полотенцем навстречу гостю, — это ты?.. Закрывай дверь, дует».

Я не нашёлся что сказать, даже не поздоровался, да и что мог ей ответить? Что-то восточное показалось мне в тюрбане из полотенца, которым увенчала себя Маруся Гизатуллина. Ей было холодно, она искала что-нибудь накинуть на оголённые плечи. Не скрою, я был разочарован: как уже сказано, я ожидал встретить другую. Я оглядел помещение. Печь с плитой и похожей на пещеру топкой, по обе стороны две двери вели в комнаты, в одной из них проживала с дочерью аккуратная старушка татарка, мать Маруси. Зато другая дверь, в углу за печкой, — тут сомнений не оставалось, была наша. Я говорю, не было сомнений, потому что знал, вполне отдавал себе отчёт: случись, что воспоминание меня подвело, вся поездка моя окажется напрасной. И так, эта дверь, была нашей, вела в комнату, куда нас поселили, когда, это было вскоре после приезда, моя мачеха устроилась сестрой и лаборантом в больнице. Впрочем, и Маруся Гизатуллина, и Нюра — обе были медсёстры. Дверь была приотворена, из узкой щели сквозил слабый свет.

Тем временем таз был унесён, мыльная вода выплеснута в ведро, табурет вернулся в комнатку Маруси. Наследница легендарной царицы Сююмбеки появилась, сменив рубашку и юбку на белый

медицинский халат, не завязанный, так что на мгновение в распах мелькнули маленькие смуглые груди и чёрная дельта внизу живота. «Небось, подглядывал!» — сказала она, взглянув на полуоткрытую дверь бывшего нашего обиталища, и на этом её роль была закончена, больше она меня не интересовала. Любопытно, что как раз в эту минуту мне вспомнилось: тогда, в тот вечер, когда пришла Нюра, Маруси не было дома, она спала, а может быть, уже успела к этому времени переселиться с матерью в другой барак. (Кстати, я упоминал и о ней в одной своей повести.)

Спохватившись, я подбежал, к нашей двери, рванул — и чуть не нос к носу столкнулся с жильцом.

Жилец этот был подросток лет пятнадцати на вид, худой и измождённый, какими все мы были в годы войны. Мамаша приносила с дежурства в виде лакомства селёдочную голову, в деревнях ели хлеб из коры и крапивы.

«Вы ко мне?» — спросил мальчик, и мы вошли в комнату.

«Вы, — сказал я с упрёком. — Ты говоришь мне: вы?..» В комнате помещались две кровати, стол; на одном ложе спал малыш, другое предназначалось для старшего сына. Я подошёл к столу. Тут стояла коптилка, лежали книги и чернильные принадлежности. Коптилкой называлась тогда лампа со снятым стеклом для экономии керосина. Стол стоял у окна, в окне отражался чахлый огонёк, отразились наши лица, похожие на лица заговорщиков. Снаружи было уже совсем темно.

«Вот и отлично, — продолжал я, заглянув в дневник, — сейчас узнаем, какой сегодня день... Я оторвал тебя от занятий, ты один?».

Мальчик смотрел на меня с угрюмым недоумением. «Откуда вы знаете?» — спросил он. Опять это «вы». Нужно было объяснить, чего я опасался. Мне показалось, что он боится меня. Я пробормотал, что приехал повидаться. «С кем?». У меня забилося сердце. Я ответил: «Повидаться с тобой. Будем лучше на ты. Мы с тобой не чужие. Ты не узнал меня...»

«Мой папа на фронте», — сказал он.

Я присел на кровать. Видение отца явилось мне вновь: он стоял перед вагоном и махал нам рукой. Мальчик сидел на своём обычном месте на табуретке у стола, мы оба молчали, — не мог же я объявить ему, что его папа никогда не вернётся.

«Мне не хочется тебя огорчать, — заговорил я. — Только не пугайся Дело в том, что я — как тебе сказать? Я не твой отец. Я — это ты сам».

«Этого не может быть, — возразил он. — А кто вы, собственно, такой?»

«Когда-нибудь, — сказал я, — если ты прочтёшь мой рассказ, тебе всё станет понятно. Только это будет очень нескоро. Я писатель».

Мальчик сказал:

«Я тоже решил быть писателем».

«Ты им будешь» — Я продолжал:

«Тебя интересовала цель моего прибытия. Признаюсь, я ехал не только к тебе. Надеялся встретить ещё кое-кого».

«Ньюру?»

«Вот видишь, ты сразу догадался. Между прочим, позавчера я получил ответ из архивного управления».

«Какой ответ?»

«Не имеет значения. Значит, она к тебе больше не приходит?»

Он сокрушённо покачал головой.

«Не грусти, — сказал я. — Всё уладится. Я ещё не всё дописал до конца».

«Выходит, всё зависит от тебя».

«Конечно, — сказал я смеясь, — ведь я писатель».

Я был доволен — мы наконец нашли общий язык.

«Подытожим события, — сказал я. — Ты написал ей письмо. Ведь это правда? Ты объяснился ей в любви».

Он кивнул.

«И вот однажды поздним вечером, когда все кругом спали, она постучалась к тебе. Верно?»

Он снова кивнул

«Отсюда я делаю вывод, что из тебя получится настоящий писатель... Письмо было написано так, что оно взволновало двадцатилетнюю девушку, которая ещё никогда ни от кого таких посланий не получала, не слышала таких слов. Ты, мой милый, — я усмехнулся, — соблазнитель!».

Я говорил, но видел, что он меня не слушает.

«Она была в ночной рубашке с грубыми кружевами — видимо, только что встала с постели, — лежала без сна и, наконец, решилась выйти. Пальто на ватной подкладке накинула на плечи, ноги сунула в валенки, на голове шерстяной платок. Постучалась и вошла, и на прядях выбившихся светлых волос блеснул иней. Верно?»

Подросток кивнул.

«Увидела на столе копилку, книжки и спросила: нет ли чего-нибудь почитать? Нужен был повод!

Ты знал, что она, как все, ничего или почти ничего не читала. Ужасно стеснялась. Подсела к столу...

«Дальше ты сам знаешь, — сказал я. — Неожиданная гостя взглянула на раскрытую тетрадку, узнала твой почерк, — ведь она всё время думала о письме! — спросила: что вы пишете? Ты ответил: дневник; там есть и о вас».

«Потому что, — добавил я, — и твоё письмо, и разговор — всё у вас было на вы. Но о твоём письме — ни слова».

«А мне посмотреть можно? — спросила она, и тут это случилось».

«Случилось?» — пробормотал он.

«Да. Самое важное в твоей жизни — вернее, в моей. Когда-нибудь ты вспомнишь зимний вечер, и этот тусклый огонёк, символ твоего одиночества, и стук в дверь, и... и поймёшь: чудесное явление девушки-богини с искрами инея на ресницах, на выбившихся из-под платка волосах, её маленькие валенки, и эта почти нарочитая скованность, и молчание, и присутствие её тела здесь, рядом с тобой, — вспомнишь и поймёшь, а может быть, уже постиг, что всё это в самом деле было нечто самое важное в жизни, что это сама жизнь и залог неугасимой вечности...»

«А дальше?», — спросил подросток.

«Ты подвинул к ней свою тетрадку, она, не вставая, склонившись над столом и, сама того не замечая, оперлась локтями. Пальто сползло с покатых плеч, и в открывшемся вырезе рубашки поднялись её большие груди».

«Получилось ли так ненароком? — спросил я сам себя. — Но и тебе ведь казалось, что случилось как бы само собой. Заметив твой взгляд, она мгновенно поправила пальто на плечах, — но знала, чутьём понимала, что мнимая произвольность содеянного освобождает вас обоих, облегчит всё, что произойдёт».

«Произойдёт что? По-твоему, она показала грудь нарочно?»

«Это был сигнал. Пол — это судьба, ты поймёшь это, когда станешь мною. К счастью, это будет нескоро».

«Когда? Ты говорил не об этом».

«Время бежит. Мы говорили о тебе теперешнем...»

Теперь, тогда – кто в этом мог разобраться? Юный собеседник вернулся к столу подкрутить фитилёк светильника. Лепесток огня стал ярче, наши тени пошатывались на стене. Мой братик на второй кровати спал, детское личико было слегка освещено.

Нюра встала – я должен был досказать свой рассказ. Огонёк на столе заволновался, когда пальто съехало на пол и я вскочил поднять и подать ей пальто; она отстранила меня. Как была, в рубашке, она села на мою кровать, её полные колени обнажились, – красоту и белизну их я не в силах описать. Онемев, я стоял рядом; слабым кивком она велела мне сбросить то, что было на мне.

«Что-то материнское, – продолжал я, – почти сострадание мелькнуло или почудилось тебе в её улыбке и взгляде, устремлённом на твои тощие ноги, – ей-богу, было чему сострадать! Она опустилась на ложе и потянула к себе подростка; открыла грудь, словно хотела дать ребёнку, – было ли это ещё не рождённое, но уже стучащееся в жизнь дитя, о котором Шопенгауэр говорит, что оно зачинается в ту минуту, когда будущие родители впервые видят друг друга? Бледные губы поцеловали тебя, что-то шептали. Это были безумные слова. Почти насильно она заставила тебя повернуться к себе. Её ладонь погладила тебя по голове».

«Почувствовалось, – продолжал я, – что-то крадущееся, щекотное, холодные пальцы нашли то, что искали. Мучительное счастье исторглось из меня, и всё было кончено. Я заплакал».

Оба сидели рядом, спустив голые ноги. Светлячок догорал – вот-вот потухнет. Она приговаривала: «Не плачь, мужичок».

«Это я виновата, – сказала она, – у меня ведь тоже никого не было, ты мой первый... Мужиков-то вокруг нетути, никого не осталось... Скоро стану совсем старая, оглянуться не успеешь. Не горюй. Не зря говорится – первый блин комом! Женщин много, у тебя ещё будут...»

Она снова обняла тебя – то есть меня.

«Хочешь, – прорывовала она, – попробуем ещё разок?»

Как бывает часто в дальних поездках, обратный путь показался мне много короче. Зима прошла, давно возобновилось судоходство на Каме. Теплоход «Степан Разин», бывший «Алексей Стаханов», покачивался, готовясь пришвартоваться к дебаркадеру. Я подбежал к пристани. И та, ставшая уже давнишней дорога в больницу в снежных сумерках, и чья-то женская фигура на крыльце, и Мару-

ся Гизатуллина с оголёнными плечами перед тазом с горячей водой, и ты, Ньюра, и наши пляшущие тени в комнатке, где спал мой братик, и керосин должен был вот-вот иссякнуть в коптилке, — всё встало перед глазами. Всё казалось мне теперь миражом, загадочной песней мозга, наподобие тех причудливо-абсурдных сновидений, которые посещают меня, когда, улёгшись на ночь, я закрываю усталые глаза, — о них, мне кажется, я уже говорил.

В Казани пришлось потратить довольно много времени на поиски учреждения с нужной мне вывеской; когда же, наконец, я до него добрался, оказалось, что вход в Центральное архивное управление — только по пропускам.

В проходной я показал бумагу, присланную мне давеча, человек за стеклом долго её изучал, поглядывал на мой паспорт — и назвал этаж и номер кабинета. Ещё сколько-то времени протекло, прежде чем чиновница, молодая черноглазая татарка, похожая на Марусю (я вспомнил, что настоящее марусино имя было Марьям), соединилась с начальством, разговор по телефону шёл на языке, которого я не знаю. Наконец, открылась дверь, принесли папку, на которую я взглянул с радостью и надеждой.

Женщина развернула папку, отогнула картонные клапаны.

«Привалова Анна Ивановна, русская, год рождения 1924-й. Всё правильно, — сказала она. — Вам ведь сообщили».

«Да, но, видите ли...»

«Вижу. Гражданка Привалова умерла. Причина смерти — полсеродовой сепсис».

2013

16 ЯНВАРЯ 192*

Time present and time past
Are both perhaps present in time future,
And time future contained in time past.
If all time is eternally present
All time is unredeemable.
What might have been is an abstraction
Remaining a perpetual possibility
Only in a world of speculation¹.

T. S. Eliot, Four Quartets Nr 1.

Огневой крюшон с поклоном
Капуцину черт несет.
Над крюшоном капюшоном
Капуцин шуршит и пьёт.
.....

Только там по гулкам залам
Там, где пусто и темно,
С окровавленным кинжалом
Пробежало домино.

Андрей Белый, Маскарад

Принимаясь за этот рассказ, я думаю о том, что окажусь в невидном положении историка, который описывает прошлое, зная о будущем, то есть о том, чем закончится это прошлое, — зная, к чему оно приведёт. Другими словами, ему дано обозреть весь пучок расходящихся дорог, ведущих в будущее. Призрак будущего, этой таинственной скрытой от нас реальности, — ожидающего, коварного, подстерегающего будущего, — сумею ли я его расколдовать?

¹ Время настоящее и время прошедшее. / Возможно, оба содержатся / В будущем. / А будущее — во времени прошедшем. / Во всяком случае, если время вечно, / С этим уже ничего не поделаешь. *Т.С. Элиот, Четыре квартета, 1*

Здесь стоит дата. Ориентировочная, без необходимости уточнять год. Этот день, ничем не замечательный, конечно же, ничего не скажет читателю, для которого он давно потонул в пучине прошлого; я же, по долгу рассказчика, вынужден его выделить. Пусть объяснением послужит то малозначительное обстоятельство, что шестнадцатое января — мой день рождения. Господи, сколько же мне тогда исполнилось? Лучше не вспоминать. Впрочем, я всё отлично помню.

...Видите ли, одно дело помнить, другое — вспомнить. Продолжая мысль поэта, мы можем сказать, что память минувшего беременна будущим. Мы о нём ещё ничего не знаем, до поры до времени оно остаётся нерождённым, прежде чем, родившись, умереть в настоящем. Но довольно говорить загадками, вернёмся к этому — увы, тоже эфемерному — настоящему. Первый послевоенный день рождения, мне 17 лет. Многому суждено будет перемениться с тех пор, как время, повивальная бабка памяти, пособит разрешиться от бремени набухшего, зреющего будущего.

Да, изменится чуть ли не всё. Исчезнет переулочек, где находился наш дом; чего доброго, не останется ничего и от дома с двумя входами, парадным и чёрным, с лестницами этажей, списками жильцов на дверях коммунальных квартир, кому сколько звонков. Не будет и двора, где прошло моё скудное, счастливое детство. Жильцы? Никого, ни единой души. Наконец, гости именинного застолья, свидетели моего внезапного исчезновения, — где их настигло, куда увлекло за собой хищное будущее?.. Всё сейчас прояснится.

Была такая тётя Лиза, Елизавета Мироновна, двоюродная сестра моего отца, пианистка и преподавательница музыки, живая, черноглазая женщина. Вижу её, как теперь, сидящей за нашим инструментом старинной немецкой фирмы, с двумя медными канделябрами, двуглавыми орлами поставщиков императорского двора, на попире развёрнутые ноты. Смеясь, играя бровями, тётя Лиза оборачивается к гостям, нажимает на педаль носком узкой лакированной туфли с перемычкой на пуговке. Вальс из «Фауста». Рядом с тётей Лизой, положив обнажённую руку на пианино, стоит наша дальняя родственница, невысокая рыженькая и веснучатая Рива Меклер в модном в цветах крепдешинового платья с глубоким вырезом, открывающим ущелье полных грудей, с квадратными накладными плечами, в огромных, как корабли, белых туфлях на высоких каблуках. Рива Меклер поёт тонким голоском «В небеса самолёт

поднимая, с облаками беседую я», поёт «Спи, любимый сын, тикают часы, мячик закатился под кровать...» — шлягеры той поры. Ей 27 лет, мужчин осталось мало, но она всё ещё не теряет надежды выйти замуж. Рива приехала из Молдавии, живёт у нас без прописки, на птичьих правах. Во время оккупации её родители, братья, сёстры и обе бабушки погибли, всего шесть человек осталось в живых из одиннадцати тысяч обитателей кишинёвского гетто. Журчит пианино, руки тётки Лизы оббегают клавиатуру, берут бравурные аккорды, гости поднимают бокалы за именинным столом. И вот тут это началось.

Я говорю о том самом происшествии — о прибытии. В коридоре раздался, лучше сказать — грянул звонок. Три звонка. Значит, к нам: кто-то опаздывающий. Музыка смолкла, тётя Лиза перестала улыбаться и перевернула ноты.

Рива Меклер побледнела, хотя вряд ли можно было увидеть это под слоем пудры. Как уже сказано, у Ривы не было прописки.

«Милиция, — прошептала она в ужасе. — Это за мной». И снова три нетерпеливых звонка.

Никто почему-то не решился встать и выйти в коридор. Молча сидели и ждали. Один только виновник торжества поднялся из-за стола, но вдруг дверь нашей комнаты растворилась. Там стояла высокая фигура в невиданном чёрном одеянии, в чёрной карнавальной маске. Обомлев, мы уставились на неё. Я по-прежнему стоял за праздничным столом. Тонкая женская рука поднялась из-под плаща с красной подкладкой. Гостья поманила меня.

«Стой, не ходи!» — кто-то прервал молчание. Почудилось ли присутствующим в этом явлении что-то неладное?

Потом кто-то, снова, рассудительно: «Может, вызвать милицию?»

Ему возразили: «Зачем? Пусть садится с нами. Милости просим!»

Всё зашевелилось, засуетилось, пододвинули стул. Гостья нетерпеливо топнула ногой. Под гипнозом её взгляда в узких прорезях маски я поплёлся к ней сам не свой. Что мне оставалось делать?.. Чувство необходимости, похожее на долг повествователя следовать откуда-то заимствованному сюжету, вынудило меня повиноваться.

Не могу сказать, сколько времени мы провели вдвоём, в тишине и полутьме коммунального коридора, под болезненной лампоч-

кой в потолке. Она — кто такая? — была выше меня ростом. Я хотел было вернуться, попробовал приоткрыть дверь — там продолжался праздник, слышались голоса, донеслось пианино, пение... Маска покачала головой.

«Оставь», — сухо приказала она.

«Но они там ждут», — сказал я.

Оставь! — повторила маска. — Их больше нет».

«Как это — нет?»

Вместо ответа она слегка развела руками.

«А музыка?»

«И музыки нет. Никого нет».

«Откуда ты знаешь?»

«Я их будущее», — был ответ.

«И моё тоже?» — не удержавшись, задал я глупый вопрос.

Она усмехнулась.

«Может быть, и твоё».

Я всё ещё ничего не понимал. Маска вела меня за руку, холодные пальцы сжали мою кисть. За спиной у нас щёлкнула английским замком дверь коридора, вышли на лестничную площадку и начали подниматься. По этим перилам, сто лет назад, я съезжал в детстве. Этаж, ещё этаж; я покорно следовал за незнакомкой. Меня не оставляла мысль о гостях. Вожатая объяснила, глухо звучал её голос. Обе, певунья и пианистка, давно умерли. Тётя Лиза, дожившая до глубокой старости, впала в маразм и больше не прикасалась к клавишам. Рива Меклер так и не вышла замуж, заболела, словно судьбе было недостаточно всего, что она пережила на родине, была оперирована, ей ампутировали обе груди.

Я верил и не верил моей спутнице, но спросить, что будет со мною, не рещался. Время шло или застыло на месте, нас провожала непробудная тишина. Дом спал или вымер. Вот и площадка последнего, верхнего этажа; в неверном свете дня, просочившемся из слухового окна, остановились передохнуть. С двух сторон двери, на каждой табличка с фамилиями съёмщиков, дореволюционный звонок-вертушка с надписью «Прошу повернуть». Вожатая — по-прежнему чёрная маскарадная маска скрывала её лицо — протянула узкую руку к рычажку, и за дверью послышалось дребезжанье звонка. Квартира была нема. Маска вынула из плаща кинжал.

Наконец, звякнула дверная цепочка, нам отворил, в траурной маске, ливрейный лакей, молча, отступив назад, отвесил глубокий

поклон. Спутница спрятала своё оружие. Мы вступили в прихожую. На рогах вешалки висела оперённая шляпа, болталась на шнурке атласная маска. Мне водрузили на голову шляпу, нацепили на лоб и нос маску.

Я знал, что наш дом в Большом Козловском переулке, построенный в начале века, был доходным, квартиры сдавались, выражаясь по-гоголевски, господам средней руки. Лакей, впустивший нас, удалился. Длинный, тускло освещённый коридор вёл в недра квартиры, где некогда обитало семейство какого-нибудь адвоката или коллежского асессора; мы и остановились перед двойной дверью. Обыкновенно в московских квартирах коридор завершался кухней. Новая неожиданность ожидала меня; впрочем, я уже ничему не удивлялся. Спутница щёлкнула худыми пальцами; створы тотчас растворились.

Там находился большой зал, огоньки свечей на столиках скрадывали пространство, лица посетителей были почти неразличимы. За столами сидели фигуры в маскарадных костюмах. Минуту спустя к нам подбежала, неся что-то, девушка, одетая чёртом, в красном атласе, обтягивающем грудь и ягодицы. Склонившись, разлила по бокалам искрящийся напиток.

«Мне кажется, — промолвила моя спутница, — ты кое-что забыл».

Я покосился на неё.

«Сегодня шестнадцатое января».

«Ах да, — пробормотал я. — Ну и что?»

«Твоё здоровье». С бокалом в руке она ждала.

Я медлил.

«Пей, не бойся».

«Я умру», — сказал я.

«Возможно. Но я хочу сделать тебе подарок. Вино укрепляет мужскую силу...»

Я молчал.

«Что же ты? Дама выказывает тебе свою благосклонность, ты не отвечаешь. Так себя не ведут!»

Маска подняла руку, готовясь щёлкнуть пальцами, вновь сошелся вчерашний лакей и проводил нас в отдельный кабинет. Должно быть, во времена коллежского асессора здесь помещалась широкая деревянная кровать с резной спинкой, лампа матового стекла в виде цветка над изголовьем. Ночник под миниатюрным зелёным абажуром горел на туалетном столике, отражаясь в на-

стенном овальном зеркале, и вся обстановка, двуспальное ложе, шкаф, столик, т, портрет на противоположной стене тонули в зеленоватом сумраке.

Рывком моя госпожа сбросила маску. Я понял, что давно жду этой минуты. Увидел её бледное лицо, бескровные губы, глаза, обведённые тёмными кругами, и крылатые брови. Увидел, — можно ли было ожидать иного? — красавицу.

Слабый аромат духов напомнил мне о присутствии женщины.

Меня окликнул её голос.

«Что же ты? Я жду!»

«Ты, — пролетел я, — ты — Смерть?»

«О! Зачем же такие слова? Малыш, — проворковала она. — Я понимаю. Ты никогда не видел никого из нас. Такой, каковы все мы... и тебя одолевают два чувства: любопытство и страх. Не правда ли? Ты можешь удовлетворить свою любознательность. Взгляни, не бойся...»

Неслышно вошёл слуга, зажёл свет над изголовьем, и приготовил постель.

Плащ, развернувшись, упал к ногам моей любовницы. Я поймал себя на этом слове — так хватают за руку преступника, дабы он не успел сотворить то, что задумал. Выходило, что мысленно, едва только меня коснулся дурман её тела, я уже был с ней? Я отвёл глаза.

«Смотри, смотри на меня. Как ты меня находишь?»

Голос умолк, и её распростёртая нагота призывала меня, и времена неслись, сменяя друг друга, настоящее стало будущим, и будущее превратилось в прошлое, но я был прав, ибо сон, объявляющий нас, был подобен смерти. Сон одарил видением, которое и вдохновило меня написать этот рассказ.

ПОМНИ О БУДУЩЕМ, ЗАБУДЬ ПРОШЕДШЕЕ

Жизнь, как загадка, темна,
Жизнь, как могила, безмолвна.

А.Блок (1898)

От автора

1

Я отдаю себе отчёт в том, что попытки объяснить суть и смысл произведения чаще всего ни к чему не приводят. «Забывают одно (я цитирую Борхеса): мало что в искусстве значит меньше, чем намерения автора». И всё же необходимость разобраться в своих намерениях заставляет меня искать оправдание — не столько перед воображаемым читателем, сколько перед самим собой. Оставим открытым вопрос, насколько всё это выполнимо.

Заголовок этого фрагмента, всего лишь фрагмента, которому я не решаюсь дать более обязывающее определение, — рассказ? повесть? — как будто намекает, что мы можем жить не только в трёх временах школьной грамматики, но и в некотором совокупном времени. В таком случае нам придётся признать, что для каждого из грамматических времён — существует своё настоящее, своё прошлое и своё будущее, так что мы можем вспоминать и мимолётное настоящее, и ушедшее прошлое, и несбывшееся будущее.

Принимаясь за свой рассказ (значит, всё-таки рассказ), повествователь, тот, кем он когда-то был, кем когда-нибудь будет, убеждается в том, что его воспоминания — не совсем то, о чём он должен был рассказывать. Скорее это судороги сбитой с толку памяти, ко-

торая вторгается в «сюжет», теряет нить, перепрыгивает, словно мятущийся луч, с места на место, короче, пренебрегает всякой последовательностью, так что от нормального повествования мало что остаётся, прошлое, каким его рисует себе рассказчик, всё меньше заслуживает доверия. Минувшее уносит с собой и свое будущее... Но с той же безответственностью, с какой своенравная память распоряжается прошлым, она справляется с будущим. Так рассказчик-баснослов вспоминает не прошлое, которого больше нет, а будущее, которого никогда не будет

2

Остаётся добавить немного. Наша фантазия, вслед за памятью, освобождённой от оков, играет более важную роль в восприятии вещей, людей и событий, чем это кажется. Бытие вещей состоит в их возможностях. Мир, заряженный бесчисленными возможностями, обступает нас. Воображение удваивает, удесятеряет мир. Фантазия извлекает из действительности её скрытые возможности, наугад переводит стрелки часов и дорожные указатели, подсказывает иной ритм и другое направление поезду событий, фантазия насмехается над здравым смыслом и над читателем.

3

Очевидно, что сказанное влечёт за собой решительный сдвиг в художественном мышлении. Приходится отказаться от того, что представлялось главной задачей литературы, — обуздания хаотической действительности. Художник, чьё дело — внести порядок и гармонию в сумятицу и какофонию мира, вынужден усваивать новое мышление, которое следует назвать фасеточным, или калейдоскопическим. Как прежде, он не смеет отступить в страхе перед жизнью. Но вера в лейбницианскую предустановленную гармонию вещей поколеблена. Вместо идеально стройного здания художник видит перед собой обломки, которые нужно каким-то образом склеить. В этом, по-видимому, состоит новая задача и обновлённый смысл его работы: не потерять равновесия, взглянуть, как смотрят в разбитое зеркало, без страха и отвращения в лицо действительности. Итак, пусть это послужит извинением за немногие небылицы, которыми автор нашпиговал своё сочинение.

Глава I

Обыденная жизнь, суррогат вечности, повторяясь с утра до вечера изо дня в день, таит в себе залог бессмертия: в который раз, просыпаясь, я чувствую холод гранитной подушки и вспоминаю о том, что я всё ещё жив. Поднимаюсь с затёкших колен, запахиваю своё старое, верное пальто, подбираю и встряхиваю подстилку. Густой туман окутал каменные изваяния и кресты. Я озяб, но утро обещает хорошую погоду.

Внезапно солнце брызнуло из-за деревьев старого кладбища, Оля смеётся на заблестевшем медальоне. Я понимаю, что означает её взор. Стыдись, хочет она сказать, ты всё ещё существуешь. Ты не подождал меня, взгляни ещё раз на даты моей короткой жизни. Но я успею тебя догнать. Всю ночь она не смыкала глаз.

«Она права, — сказал доцент Журавский, — я тоже почему-то чувствую себя виноватым».

Ты-то тут причём, хотелось мне возразить. Я обернулся. Доцент сидел, как всегда, в проходе между отсеками, на скамейке для посетителей.

«Опаздываете, доктор». Это его манера, особый педагогический шик — на четвёртом курсе называть нас докторами.

Я снова запахиваюсь. Мне холодно.

«Приведите себя в порядок. В Гиппократовом кодексе говорится: врач должен быть аккуратно одет, и надо, чтобы от него приятно пахло. Подтяните галстук. Впрочем, что вы там услышали?»

Я вновь прикипаю ухом к памятнику: тоны сердца глухие, аритмичные, слабый пресистолический шум. Живое сердце Оли, пусть неровными толчками, бьётся в граните.

«Ваш диагноз, доктор?»

Я отрапортовал: «Митральный стеноз. Сужение левого предсердно-желудочкового отверстия».

«Отлично. Позвольте, однако, возразить. Великий Лаэннек, изобретатель стетоскопа, с вами бы не согласился. Камень не обладает такой звукопроводимостью, как, например, дерево. Я вам уже рассказывал. Однажды Лаэннек прогуливался по двору Лувра, там шло строительство. Он увидел двух мальчишек, один стучал по бревну, а другой слушал, прижавшись ухом к торцу. На другой день доктора пригласили к молодой пациентке, Он не решился выслушивать ухом её грудь, взял со стола тетрадь и свернул трубкой. А потом попросил сделать для него деревянную трубку».

Но уже пора, доцент Журавский поглядывает на часы. Он встал и вышел на главную аллею. Туман окончательно разошёлся. Мы шагаем к воротам. До свидания! Сердце Оли билось в граните всю ночь. Её глаза всё ещё открыты и провожают нас.

Десять часов, в подвале областной больницы, находится раздевалка для студентов, мы облачаемся в белую униформу, выходим наверх. Солнце блещет в широких окнах терапевтического отделения, десять халатов плетутся за шествующим впереди наставником, десять крахмальных шапочек приоткрывают девичьи чёлки; академические группы в провинциальном мединституте невелики. Доцент Журавский остановился в конце коридора, постукивает костяшками пальцев; дверь открывается Ты здесь, как в камере, в одиночной палате-изоляторе, полулежишь на высоких подушках, твои лиловые губы ловят воздух, грудь, едва проступающая, поднимает больничную рубашку в такт учащённому дыханию. Глаза тревожно блестят. Малиновый румянец на щеках красит тебя, Оля. Ты хороша, как никогда. Этого достаточно для диагноза. Преподаватель присаживается боком на твою кровать, поигрывает изобретением Лаэннека.

«Лицо Корвизара, — со вкусом произнёс, глядя на большую сверху вниз, доцент Журавский, который любил историю медицины. — Описано лейб-врачом Наполеона Корвизаром. Обратите внимание на цианоз губ, щёк, кончика носа. Болезнь надевает на лицо пациента маску. Нужно уметь её распознать...».

«Э, нет, — он покачивает головой. Девушки, одна за другой, вооружились фонендоскопами, повесили на шею никелированные рога, — нет, друзья мои, вот этот простой прибор надёжней, дерево обладает замечательной звукопроводимостью, не так громко, но зато звук чистый, и шумы сердца отчётливей. Лучше, чем металл и... и, например, чем камень. Коллега меня поддержит...».

Доцент указывает на меня. Я киваю.

«Кардиолог должен тренировать свой слух. Слышите? Бой перепела, трёхчленный ритм. Ту-ук, тук-тук. Патогномоничный симптом порока митрального клапана... Кто-нибудь из вас слышал, как стучит, словно молоточком, перепёлка?..»

И он уверенно приподнимает твою рубашку, повыше, там бледные полудетские холмики, там ямка между ключицами, — приставляет свою дудочку, устремляет в пространство задумчивый взор. Больная, испуганная, безмолвная, вздрогнув под стетоскопом, опускает ресницы.

«Па-азволь!» — раздалось в дверях. Девушки расступились. Доцент Журавский поморщился, вставая. Два санитаря вкатили тележку, прикрытую простынёй. Кислород для Оли?

«Ошибаетесь, доктор...» В самом деле, кто же так возит громоздкие металлические баллоны с живительным газом. Больная лежит, по-прежнему тяжело дыша, на высоких подушках. Сейчас её глаза открыты. Странная, как у некоторых кукол, способность то отпускать, то поднимать фарфоровые глаза. Доцент Журавский откинул простыню — там стоит гранитный памятник. Там её медальон с широко открытыми удивлёнными глазами. Зачем он здесь? Я знаю, ты ждёшь и не находишь меня.

«Я здесь», — прошептал я. Оглянувшись украдкой, — никто больше не торчит за дверью, — я опускаюсь на колени, чтобы слушать. Камень молчит.

«Не беспокойтесь, доктор... Увидит и обрадуется».

Не удержавшись, разозлённый, я спрашиваю, кого, собственно, он имеет в виду. Где увидит, кого? Кто это?

«Ты, — был ответ. — Кто же ещё, хе-хе...». И этот его хитренький, злорадный какой-то смешок. Рука протянулась с платком из-за моей спины, доцент протирает фарфоровый медальон и надпись. Присматриваюсь, всё на месте, обе даты, и она в овале, с сияющими глазами, смеясь и радуясь, но вместо твоей фотографии, Оля, я вижу свою.

Глава II

Моя фотография, думал я, торопясь вниз по ступенькам. А где всё остальное? Там стоит только одно имя: Ольга Кобзева; а где же другое, моё? Где *мои* даты? Завтра приду и проверю. Нужно быть начеку, нельзя давать волю мыслям нестись вперёд, обгоняя события... Этот камень, и холод гранитной подушки у меня под ухом, и твой укоряющий взгляд... И неутраченное, бессмертное сознание: я здесь, а тебя нет! В конце концов, говорю я, всё зависит от того, куда повлекут нас наши мысли. От грамматики. Какое глагольное время мы употребим Безумие моё, а лучше сказать, моё самообладание в том, Оля, что я не в состоянии зачеркнуть будущее. Я знал, что нас поджидало, висело над нами, как грозовая туча. И вот чем оно разразилось... Забыть, забыть. Будь я осторожней с моим знанием, ничего бы не случилось. Санитары увезли тележку с её грузом, занятия окончены, мы покинули терапию. Кучкой, друт за

другом мы спешим вниз, в подвал с раздевалкой, — а ты там лежишь в твоей маленькой палате, и твои синие губы ловят воздух, и рубашка колыхается под твоим дыханием, ты задыхаешься, оттого что прыгала по широкой больничной лестнице, стараясь не отстать, схватилась за меня.

Щурясь от яркого света, мы вышли из подвала наверх, а там больничный двор и ворота. Простудишься, говорю я, ты в одной рубашке. Ты переступаешь голыми ногами. О, какой радостный, сияющий день, последние недели октября, как прекрасна жизнь в этом городе и звонки трамваев, и шорох автомобилей, и это щедрое бабье дето. Туман на кладбище давно рассеялся, и наш доцент, должно быть, всё ещё сидит на скамейке. Сейчас, Оля, мы пойдём.

Не тут-то было. «Ни в коем случае!» — Проклятье, голос доцента Журавского снова у меня за спиной. — Ей нельзя вставать, постельный режим, как это вы, доктор, допустили, а ещё будущий врач. Извольте следить за вашими мыслями, мало ли что придёт в голову, не пускайте их на самотёк. Не играйте с действительностью...»

Хотел бы я знать, что это значит. Ход наших мыслей опережает шахматные ходы вещей, ситуация на доске меняется — я выигрываю, не это ли он хочет сказать? Небось завидует мне... Оля переёрнула плечами, мельком взглянула на него, презрительно отмахнулась, чему я несказанно рад. Ревность обжигает меня при виде рослого, щеголеватого доцента, при одном звуке его голоса, а сам я робок и неказист. Едва успев сбегать вниз за пальто, убеждаюсь, что она здесь. Но никакого пальто, кажется, больше не нужно. Какой это холод по сравнению с тем, который пронизывает её в земле. Ветерок слегка вздувает подол твоей рубашки. В это мгновение я чувствую себя на твоём месте здесь, здесь, на улице, свежесть осени обнимает нас, поднимается к тебе между коленками, до нежного паха, холодок внизу живота, то же ощущаю и я — мы одно, не зря наши лица рядом на стьлом граните. Я вскакиваю с колен, подбираю и встряхиваю подстилку, поспешно запахиваюсь.

«Пошли?»

Перейти улицу, тут и рельсы, и чахлый сквер перед зданием института.

Мы шагаем по тротуару вдоль институтской ограды, твои ботинки постукивают рядом, ты стараешься не отстать. Гремит, нас обгоняя, трамвай. Я спрятал руку в карман моего пальто, теперь оно

пригодилось, и там, в безопасной темноте, притаилась в моей ладони твоя рука, наши пальцы сплетаются. Там, как в былые дни, я ощущаю эманацию твоей юной прелести. Узкая, исхудавшая рука поднимается, прощаясь с моей рукою, над твоим одеялом, над гранитом, я ощупываю все косточки, но рука падает и снова скрылась в моём кармане. Довольно, лежи спокойно под нашим камнем, зачем заклинать прошлое, будить храпящее во сне будущее? Вслед за трамвайной линией мы сворачиваем на Советскую, — все главные улицы в областных городах называются Советскими, — и дальше, вновь твоя рука в моём кармане тайно обнимает мою руку, пальцы находят друг друга, мы шагаем в ногу. Я как будто иду теперь мимо выставки музейных экспонатов: город — это музей моей умершей жизни.

Гром и звон нагоняют нас, прицеп мотается за головным вагоном, это всё тот же трамвай успел доехать до вокзала и возвращается. Так, пройдя всю Советскую, мы окажемся на её продолжении, проспекте Чайковского, перед домом, который построили после войны пленные немцы.

Глава III

Я ищу глазами рядом с подъездом крытый толем навес, ещё один экспонат. Под навесом, в фартуке и с колодкой между ног, зажимая губами горстку гвоздей, сидит, постукивает раздвоённым, изогнутым, как клюв, молотком кудлатый, в чёрной шёлковой ермолке на седых кудрях холодный сапожник, — всё ещё сидит, пока на него не успели донести жильцы дома. Объясняю Оле, ведь ты, говорю, ничего этого не застала. Жильцы пожаловались на него за то, что он занимается частным промыслом вместо того, чтобы работать. Работать — это значит числиться кем-нибудь где-нибудь, и кто не числится, тот не работает, а кто не работает, тот не ест. Люди не догадываются, кто он такой. Всё в том же вечном своём фартуке и кирзовых сапогах, сжимая колодку между коленями, с гвоздями во рту, он сидел на крыльце своего дома в городе на отрогах Иудейских гор под палящим солнцем — как сидит сейчас возле дома, который построили немцы. Тут послышался шум. Мимо, подгоняемый толпой, тащился измождённый человек, остановился, попросил помочь ему волочить за собой тяжёлый снаряд, сколоченный крест-накрест из брусьев палисандрового дерева, но сапожник отмахнулся. Хорошо, сказал человек, задыхаясь и еле ворочая язы-

ком, может быть, ты и прав, говоря, что много тут разных шатается, хорошо, я пойду; а вот ты будешь вечно сидеть с молотком и колодкой под навесом возле дома на проспекте Чайковского, построенного пленными немцами. А когда вернусь, мы сочтёмся. Человек с крестом, говорят, никогда больше не приходил, а придёт участковый и прогонит сапожника: жильцы-таки настучали, что он нигде не работает, а занимается тунеядством — частным промыслом, вместо того, чтобы работать. Работать — это у нас значит числиться кем-нибудь где-нибудь, кто не числится, тот не работает, а кто не работает, тот не ест. Сапожник всё же ест: мацу или что там. Не знаю, говорю я, зачем я это тебе рассказываю, ты ведь христианка.

«Меня мама отнесла в церковь крестить, я была ещё совсем маленькая».

Мы заглядываем в подъезд, я веду Ольгу, там еврей медленно поднимается в своей разношенной кирзе, в чёрной шапчонке над большими ушами, поддрагивают его седые лохмы, под мышкой трёхногая скамейка, за спиной мешок с не востребованными заказами. Внезапно отворяется дверца каморки под лестницей, кашель, как хриплое карканье, доносится из подвала, ворчливый голос осведомляется: где он числится? А ты где, мрачно отвечает сапожник вопросом на вопрос. Старая карга, однако, работает — числится сторожихой сама и назначила себя уполномоченной следить за порядком. Зовёт к себе.

«Некогда мне, я работаю», — отрезал он.

«Эва! где ж это ты работаешь?».

«У меня патент есть».

Обыденная жизнь, что в нашем городе, что в Ерусалиме, суррогат вечности... Ибо всякое настоящее, если не уходит в прошлое, становится вечностью, говорит блаженный Августин.

«Арончик, ты не серчай на меня, Бог с ним, с патентом, и с Гаврилой нашим, ступай ко мне, чай будем пить. Я вашу нацию уважаю. только зачем вы нашего Христа распяли? Иди, коли зовут. Чайку попьём, кхе, кхе...»

На улице, рядом с подъездом, прислонясь к стене, подпирает дом могучими плечами, стоя на костылях, одноногий Атлант, капитан Кобзев с лотком на двух лямках; лоток накрыт чистой простыней и одеялом. Народ столпился вокруг, выхватывают из капитанских рук горячие, пахучие пирожки, надкусывают, подают объедки нищенствующим супругам, мужику и бабе, квартирантам доброй сторожихи. Милиция не трогает капитана.

Твоя рука, Оля, у меня в кармане! Тепло твоей ладони, эманация твоего тела. Товар распродан, лоток отдыхает в подъезде. Костыли составлены вместе и прислонены к перилам. Угрюмый, грузный капитан, поддерживаемый с двух сторон, — я справа, ты с отцом слева, — допрыгал по ступенькам, первый этаж, второй этаж — представь себе, Оля, я забываю, что и он вскоре ляжет там, где ты теперь, где мы оба... На лестнице раздражающе пахнет пригорелым маслом. Дверь открыта. Мы ввалились в квартиру. В кухне, на двух сковородах мама жарит, помавает, как кадиллом, жирной кисточкой — смазывает бледно-глянцевые, ожидающие на столе пирожки. Кто не работает, тот не ест. Мама числится бухгалтером в столовой Военторга, откуда и масло, и мясо для начинки, — в магазинах-то хоть шаром покати. Я несу вниз корзину, капитан стоит с лотком. Оля разгружает товар. И голодный люд топчется перед продавцом, и чета нищих, кряхтя, поднялась с ложа любви в каморке каркающей сторожихи, мужик подтягивает портки, тётка, удоволенная, одёргивает пестрядинную юбку, расчёсывает жидкие волосы гнutoй гребёнкой, повязывается монашеским платком. Сума через плечо — бродить по городу. Жизнь продолжается.

«А ты, бабушка, между прочим, заблуждаешься, никто его не распинал, зачем его распинать».

«Зачем же ты его прогнал, он, говорят, здесь ходил».

«Это ты стихи имеешь в виду?»

«Какие такие стихи?»

«Удручённый ношей крестной всю тебя, земля родная».

Жизнь продолжается, слава-те, Хосподи, дело идёт, и мама по-прежнему стоит у плиты, несмотря на то, что её тоже нет в живых. А там народ сгрудился на тротуаре, тут же и участковый Гаврил Степаныч, — «здорово, сержант», — «здравия желаю, таа-ищ капитан!», а у самого в руке уже пирожок, зубами — хватать! — некогда нам тут лясы точить, служба зовёт! Милицционер удалился ко всеобщему облегчению. день продолжается, мы ещё живы, Оля, прошлое не возвращается, о нём молчок, и человек с крестообразным снарядом никогда не вернётся, воскреснет только грядущее. Всё та же обыденная жизнь влачится, одна и та же, вечная, как сама вечность, и нескончаемый, незабвенный тянется день приподневшейся солнечной осени, сметает с улиц память, отменяет смерть.

«Ты куда собрался, Арончик, посиди ещё» — «Мне пора, бабушка, до свиданья». — «Да кто тебя гонит. Небось Гаврила, дубина стеросовая. Говорила ему ооставь жида в покое, чего ты к нему привязался. Он тебе сапоги починит Сиди, Арончик. Куды тебя несёт? ».

Гремит трамвай, маршрут всё тот же: проспект Чайковского до вокзала. Сапожник стоит, поставив мешок с заказами у ног, на площадке вихляющегося прицепа, едет к себе в Ерусалим.

Глава IV

Играй, скрипач вечности, исполняй свои визжащие, тянущие за душу вариации на заданную тему. В который раз, просыпаясь, я вспоминаю о том, что я. ещё жив и как будто здоров, и поднимаюсь с затёкших колен. Подбираю и встряхиваю подстилку. Туман окутал кресты и деревья, предвидится ясный день. Но утро мспорчено для меня, доцент Журавский сидит на скамейке, ждёт; чего доброго, так и проторчит здесь всё утро — пока не сомкнутся за нами створы ворот. Зуд ревности терзает меня и требует его расчёсывать, подстрекает, кормит новой пищей воображение, я готов растерзать и моего соперника, зуд нестерпим, удовлетворять его становится всё больше, чужая страсть обурекает меня, казнит меня, не надо мне ничего объяснять, я и так знаю, как это у них — у вас с ним, Оля! — происходило. Как он там, в отделении, на дежурстве, — преподаватели вуза дежурят наравне с ординаторами, — подждал тебя в запертом кабинете заведующей отделением. Обнимал, обладал тобою — сознайся, бормочу я, впиваясь глазами в твои глаза, ведь было так, уговорил тебя, и ты поднялась и вышла в своей к рубашонке ночью, и вы лежали, содрогаясь, на диване в кабинете заведующей, и ты тихонько стонала, ты боялась, что кто-то услышит, а вернее, боялась «последствий», а он вынул пакетик, и ты сама, о, проклятье, горе мне, сама надела ему своими тонкими пальчиками. Было, было! Не зря же он сидит каждое утро на скамейке. Ты уже... осмелюсь ли выговорить, уже принадлежала кому-то, ты согласилась, чтобы тебя насильовали, сознайся... Зачем ты скрывала от меня? А он, неужели он, кандидат наук, не знает, что оргазм, опять приходится произнести это ужасное слово, опасен для твоего сердца? Что вы там слышите, доктор, спросил он. Что я слышу, Господи... Аритмию, пресистолический шум. Живое сердце Оли бьётся в граните.

Ушли, растопились в будущем дни, когда Арон, иерусалимский сапожник, ставил набойки, подрезал кривым ножом, постукивал загнутым, как клюв, молотком, сидя под навесом, а капитан Кобзев стоял на одной ноге со своим лотком. Но времена изменились, милиционер приказал сапожнику, частнику, убираться, а горсовет постановил удовлетворить ходатайство жильцов, твоему отцу инвалиду Отечественной войны выделили двухкомнатную квартиру, — в том же доме, построенном теми же немцами, с которыми он воевал, правда, без лифта. В кухне газ. В большой комнате обеденный стол и кровать родителей под белым пикейным покрывалом, с горой подушек, с подзором в кружевах. Над кроватью в рамке отец и мать щеками друг к другу, на другой стене — репродукция, вырезанная из «Огонька»: святая Инеса испанского художника Риберы, с грустным летским личиком, в плаще распущенных волос, — злые люди хотели её обесчестить, зставив девочку ехать по городу голышом, но пышные волосы накрылии хрупкие плечи и грудь, ангел с неба, из угла рамки, бросил простыню. В другой комнате — ты...

Мы оба. «Не беспокойся (это ты шепчешь мне), они смотрят телевизор. Никто не войдёт», — и преклоняешь колени. А как же доцент Журавский, думаю я, ах, пускай он там сидит, не дождётся, солнце ещё не взошло, туман не рассеялся, мы идём к воротам, скрипка долдонит одно и то же, и тут чудесным образом оказывается, что никакого доцента не существует.

Глава V

Наша комната, молельня, наш храм... И мама не войдет, хотя давно догадалась. Дом строился военнопленными после войны, когда ты была подростком, как Инеса. Я ступаю наверх, по лестнице, в сыром известковом сумраке, перебираю железные перила, первый этаж, второй этаж, звоню; мне открывают, опустив глаза, поджав губы. Знаю, твоя мама меня не любит. Она считает меня виновником всего. Это правда.

Мы вдвоём, и с каким-то благоговейным ужасом я смотрю на тебя, твои глаза распахнуты, и мне кажется, что моё сердце распахнулось навстречу тебе, твоим рукам, творящим священный обряд. Я стою под ливнем твоих поцелуев. Ты обнимаешь меня и опускаешься на колени перед *ним*.

Семестр начался, было это или не было, не могу сказать, студенты только что вернулись из поездки на картошку в далёкий, Богом забытый район — род патриотической барщины. Всё ещё медлит тёплое бабье лето, доцветает любовь, тебя могли освободить от колхоза, а ты взяла и поехала. Было, было... Как назло пробудился кашель, вестник ненастья, словно желая тебя предупредить, и вот дождик сыплет с жемчужных небес, темнеет мокрый гранит, тускнеет золото твоего имени в последний раз, Чёрным крылом накрыло твои глаза, Оля, — и уселось на камень, чтобы выклевывать их, прожорливое будущее. И вновь я вступил в кошачий подъезд, там бдит и бодрствует сторожиха, там больше не греются возле железной печки нищие любовники, там стоит прислонённый к стене, уже давно ненужный лоток капитана Кобзева, звоню в квартиру, никто не открывает. Прошелестели шаги, мама, погрузневшая, усталая, молча смотрит на незваного, визитёра. Тесную прихожую освещает костлявая лампочка, щель света проникает из большой комнаты через полуприткрытую дверь, голос домашнего чревовещателя, — обыденная жизнь, словно ничего не случилось, — дверь захлопывается, я жду, я всему виной — и, тому, что дождь поливает памятники, и что твоё одинокое сердце бьётся в граните, а я жив, и в том, что мы себе «позволяем», — во всём повинен я. «Но ведь они не знают!» — «Всё знают». Мама прочила тебя за доцента, мама знала о том, что он ухаживает за тобой, даже кажется, приходил к вам в гости, — когда? — ты об этом не говорила. И я стою, парализованный внезапной тишиной, и на своё несчастье знаю, помню всё что произойдёт, и вдруг, наконец, тихонько скрипнула дверь твоей комнаты. Твои вознесённые руки лежат у меня на плечах, задышавшись, ты обнимаешь меня за шею, и я стою, уронив руки, онемелый, под дождём твоих лобзаний. Наша комната, наше убежище, мавзолей нашей тайны.

Здесь диван, на котором ты спишь, на котором и нам не дано было забыться вдвоём навсегда, у окошка в слезах дождя. На изогнутых ножках ученический письменный стол, школьная фотография, платье с белым воротничком, тонкая шея, чистый девичий лоб — и глаза глядят, не моргая, как с медальона. Лежат стопкой учебники, «Пропедевтика внутренних болезней» Мясникова, «Болезни сердца и крупных сосудов» Зеленина, через месяц начало занятий, вместо этого мы едем в колхоз, в дальний район на картошку, и доцент Журавский со всеми нами, а тебя могли бы освободить. Пора — грузовик ждёт во дворе института, задний борт откинут, на-

род прыгает под брезентовую крышу, я занял местечко в углу перед стеклом кабины, и мы вдвоём. Смех и говор в кузове, белые халаты, белые шапочки заглядывают в твою одиночную палату, доцент вещает о маске Корвизара, ты могла бы остаться дома. Теснота под брезентом, урчит мотор, нас потряхивает на ухабах, визг и хохот встречают каждый толчок и падение.

Я послушно встаю с дивана, мне больше не стыдно Мне теперь совсем не стыдно. Ты стоишь на коленях передо мной, перед почтительно поникшим волшебным грибком. Юная, как Инеса, ты взрослеешь, шёпот пола подсказал тебе, твои странные, невозможные, смешны и непозволительные слова.

«Но ты уже видела», — говорю я.

«Я хочу видеть всё. Он прячется».

«Он боится. Ты его испугала».

«Он спит. Я буду смотреть на него, и он проснётся».

«Что ты там шепчешь? Ты молишься?».

«Я прошу у него разрешения его поцеловать».

«Лучше поцелуй меня».

«Но ведь я тебя и целую!»

Почему, спрашиваю я, она меня любит, несмотря на то, что мы всё ещё не до конца вместе.

«Мне достаточно видеть тебя, смотреть на тебя», — сказала она. И вдруг до меня доходит. Догадка, как молния, поражает меня. Конец — это и будет конец.

Чу! Кто-то остановился за дверью в самый неподходящий момент. Я вскочил, как ошпаренный. Она удерживает меня. Спокойно, задумчиво ты поправляешь на мне одежду. Ты одеваешь меня, сосредоточенно, как одевают ребёнка. Твой взор затуманен, ты погружена в себя, словно созерцаешь будущий плод в своём чреве. Но ничего не произошло, — там скребутся в дверь, — да, отвечает Оля, медленно, лениво, — «это ты, мама?..» — и мама входит, и видно, как ей не хочется меня приглашать.

Глава VI

Мучительная торжественность праздничного стола, крахмальная скатерть, на которой ещё приподнимается складка от глажения, хрустальные фужеры на тонких ножках, — мы робко озираемся, словно стыдясь нашего счастья, и не понимаем, в чём дело — какой

там ещё праздник? Ах да, день Советской армии. Капитан Кобзев сидит за столом. И пока меня усаживают напротив отца — Оля рядом, словно мы официальные жених и невеста, — пока хозяин с графином в дрожащей руке, _в суровом молчании, наливает настоящий на лимоне напиток мира и семейного благополучия, — полный, как глаз, бокал, экзамен на право считаться мужчиной! — в ту же мнуту, я спохватываюсь, что всё перепуталось в моей голове, ведь уже осень, а день Советской армии — это февраль. На самом деле алкоголь смешал времена. Мы покинули прошлое и вернулись в наше будущее. Открывается дверь, пошатнувшаяся было действительность вступает в свои права

Отворилась дверь. Мама входит из кухни, на столе воздвиглось дышащее жаром блюдо с пирожками. Капитан вознёс свой кубок. Мы сдвигаем бокалы. Неподвижные, серые, как у тебя, глаза солдата следят, чтобы я осушил свою чашу до дна, до последней капли. Ночь опустилась над нами, умолкли голоса, погасли смешки, грузовик со студентами раскачивается и подпрыгивает на ухабах, мы давно уже пересекли трамвайный путь, проехали мимо вокзала и оставили позади железнодорожный переезд, в темноте мы сидим, обнявшись, в углу между бортом и кабиной, — счастливейшие минуты моей жизни, никто нас не видит, и моя рука, кроясь под твоей одеждой, ищет ожидающий пробуждения миниатюрный сосок. Сейчас откроется дверь палаты, въедет тележка с твоим камнем, накрытым упавшей с небес простыней ангела.

Отец ждёт, с бокалом в подрагивающей руке. Тост — за что? Капитан не любил — как все вернувшиеся с войны — говорить о войне. Как все побывавшие на войне, капитан не рассказывал ничего о войне. Вот он прыгает, поддерживаемый с обеих сторон, я справа, ты слева, по ступенькам, его лоток остался внизу в подъезде. Не будь соседа пенсионера и этой несчастной ссоры, он бы так и промолчал, не поминал бы новобранцев.

Были такие прыгучие мины, немцы называли их «шпринг», а наши — лягушками: ненароком наступишь, и смерть выпрыгнет из земли. Грузовик с брезентовым верхом подпрыгивает на ухабах. Были такие мины. И дорога долгая, как все дороги в нашей стране, и где-то там, за сумрачными лесами, под небом в разбухшей вате облаков пробуждается сызнова дальнее эхо войны. Замирают звуки разрывов. В наступившей тишине донёсся протяжный гудок. Ко-

лонна санитарных фургонов защитного цвета, с крестами на стёклах, дожидается у переезда, и вот, наконец, показались огни, показался дымок в разрубе тайги, слепящий свет бежит по рельсам, пыхтя, приближается задыхающийся локомотив, гремят на стыках вагоны, мелькают окна в белых занавесках, и на каждом вагоне белый круг с красным крестом. Гром столкнувшихся буферов прокатился вдоль станционной платформы, из раздвинутых дверей выглядывают белые косынки, на ступеньках, держась за поручни, стоят медицинские сёстры.

Капитан остался за столом, отталкиваясь уцелевшей ногой, подъехал в кресле-каталке к подрагивающему от стрекотания пистолет-пулемётов, от громоподобного «ура!» молочно-мутному экрану, где все программы были посвящены дню Советской Армии, но твой отец не любил и эти фильмы. Между тем девушки-санитарки, в темно-зеленых, новых шинелях британского союзника, в русских сапогах и пилотках со звёздочкой, подвое, каждая пара с носилками, торопятся, топчут по мокрой платформе от вагона к вагону вдоль только что прибывшего из Тихвинского хирургического эвакогоспиталя военно-санитарного эшелона. Медленно, друг за другом проталкиваются мимо восставших шлагбаумов поблескивающие влагой фургоны, задние дверцы распахнуты, Там уже никого нет, последние носилки втискиваются в вагон. На носилках лежит командир батальона капитан Кобзев, списанный ещё в ДМП в невозвратимые потери, Капитан подорвался на «лягушке». Дождь льёт которые сутки подряд над всей Россией. Гремит марш «Непобедимая и легендарная». Телевизор празднует день Советской армии. Твой отец не любит вспоминать о войне и победе, не смотрит фильмы, в которых всё неправда. Дождь не унимается, точно так же он лил, как ошалелый, если кто помнит, на Красной площади во время парада Победы.

Был однажды такой случай с соседом пенсионером, который проживает напротив, дверь в дверь. Был спор, когда отец, ты говорила, в первый раз нарушил молчание. Ударил кулаком по столу, так что п повалились рюмки: «Какая, к такой матери, победа?!»

«Не вам так говорить так, Виктор Лексаных, вы — победитель...»

«Кто-о?» — взвился капитан. — Я?»

Мама бросилась к нему успокаивать, поднесла сердечные капли, капитан отмахнулся, тяжело дышал сосед, оскорблённый, вышел вон, капитан молчал, погрузившись в свои могучие плечи, Оля сгребает веником в совок осколки, мать убирает со стола. Капитан молчал.

«Победа, ети её, — он наконец заговорил. — А сколько за эту победу заплачено... Это ты знаешь?»

Капли не подействовали, он проскрипел, что умрёт, не забудет, своими глазами видел. К нему в батальон, изрядно потрёпанный, прибыло подкрепление.

Капитан прижимает к уху трубку полевого телефона и озирает комнату. Вместо свадебного портрета, вместо полуобнажённой девочки в плаще распустившихся волос видит перед собой новобранцев с наголо стриженными головами. Что-то переспрашивает, вроде бы недослышал, там в ответ начальственный мат, приказ из штаба полка — старые опытные кадры беречь, наступать имеющимися силами, подкрепление гнать вперёд на минные поля, от не нюхавших пороху какой толк? Куда денешься, вот он этих мальчишек и погнал А через три недели, сказал он, и от старых кадров никого не осталось. Это мне наказание, сказал капитан и постучал по культе. Есть Бог, нет Бога, бог его знает, только это было ему наказание. Капитан остался в большой комнате, а мы с тобой отправились к тебе.

Смерть выскакивает, Оля, из-под ног, рвутся фугасы, взлетают фонтаны земли, — а мы вдвоём в твоей комнате, как это соединить? Как связать прошлое с будущим? Ты поднялась помочь матери убирать со стола, уходишь на кухню с подносом, на котором составлены бокалы, лежат стопкой грязные тарелки, капитан Кобзев отталкивается уцелевшей ногой, отъезжает от стола, капитан выкрикивает команду, ребятишки в новых, болтающихся шлемах выбегают из окопа, одноногий Атлант подпирает дом могучими плечами, с лотком на лямках, пистолет в руке, бросает лоток с пирожками, бежит сам на здоровых ногах среди комьев земли и грязи, подгоняет своё рedeющее войско, навстречу противнику. Народ, милиционер, старуха, нищие любовники подбирают рассыпавшиеся пирожки на асфальте. Мёртвые выходят из воронок, и ты выходишь из-за праздничного стола собрать посуду и прячешься там, за камнем с фаянсовым медальоном. А я плетусь за тобой, пошатываясь от выпитого. Там твои поцелуи, Ольга. Ничто не минует нас. Сумасшедшее время передвинулось и приближается, как смерть. Взмахни смычком, пиликай, скрипач...

Комната качается, как ковчег на волнах, — я едва удерживаю равновесие. Я стою, как потерянный, с поникшей головой, опустив руки. Ты обнажаешь меня, ты стоишь передо мной на коленях, как я стоял перед твоим медальоном, боюсь шевельнуться, не смею переступить. Ты опустила ресницы, твои губы ищут приникнуть к моему оробелому средоточию, ладонь поддерживает тестикулы, губы шепчут молитву, — и моя душа рвётся тебе навстречу, Оля, Оля, — ты здесь, и я здесь, алкоголь, как волны моря, стучится в стены каюты, я чувствую жаркое излучение, которое исходит от тебя, чую свежесть увлажнённого тайника и не могу придвинуться ближе, не смею отдаться тебе, тобою овладеть, слышу, как ты шепчешь безумные слова, в страхе или в восторге перед явленным нам чудом.

Глава VII

Мы едем, трясёмся в колхоз. Картофельный октябрь. Всё то же серо-жемчужное костромское небо, сырая вата облаков, всё та же дорога, по которой в разливах грязи и чуть ли не вплавь по озёрам луж продвигается колонна краснокрестных фургонов, и в одном из них везут из дивизионного медпункта в забытии безногого капитана Кобзева. Дома, в комнате на проспекте Чайковского, где телевизор транслирует концерт Краснознамённого ансамбля песни и пляски, очнувшись от стука сапог, капитан поднимает бокал. Строго глядит на меня. Мы сдвигаем фужеры. В грузовике под брезентовым тентом, забившись в угол, я обнимаю тебя, грею тебя. Сколько бы ни тянулась безрадостная дорога, дождь сколько бы ни поливал твой камень, — я с тобой, ты здесь... И вот, наконец, прибытие.

Мы в деревне. Моросит дождик. Из двух окошек, между цветочными горшками, сочится оловянный рассвет, В углу мечет тусклые молнии темноликая Богородица в кружевном жестяном окладе, перед висячей лампадкой, на стене стучат ходики. На полу три студентки, и ты с ними, поднимают всклокоченные головы от тряпичных подушек, тонкие руки падают на одеяло, сшитое из цветных лоскутов, девушки выпрастываются, садятся, прикрывая грудь, босые ноги шлёпают по полу, стучит на кухне сосок умывальника, девы зевают за столом. Хозяйка, в кофте и пестрядинной юбке, несёт чугунную сковороду с ломтями варёной картошки. У завалинки под полуоткрытым окошком собралось местное общество, петух и его кудахчущие подруги, поодаль, не решаясь приблизиться, ждёт, помахивает подобострастно хвостом мокрый проголодавшийся пёс.

Народ теснится перед подъездом в ожидании капитана с пирожками. Всё возвращается, сызнова начинается обыденный день, вернулся на трамвае из Еерусалима старик сапожник, с колодкой и торбой с не востребуемым товаром согбенный, входит в подъезд, в каморку сторожихи под лестницей. Пьют чай из блюдец, держа в губах огрызок сахара, — а тут студентки, хохоча, бросают в окошко петуху и псу хлебные корки, — шум, гам, суета, кудахтанье, кто-то пытается выпрыгнуть между створками окна, а там свинцовые небеса, и бригадир приходит звать на работу, и дождь, дождь...

Мы в деревне третью неделю, считаем дни. Я простужен, лежу за перегородкой в испарине, с фебрильной температурой, доцент Журавский выслушал и выстукал меня. Он здесь, исполняет патристический долг помочь колхозу, воспользовался картофелеуборочной кампанией, чтобы сопровождать свою группу, тебя видеть, Оля, поверь мне — уж я-то знаю... Я болен, у меня жар, и по этому случаю он меня освободил от работы — не затем ли, чтобы мы не были вместе? Картошка гниёт на размокших пажитях, девочки, расквартированные в избе, где-то там. Тишина, никого в избе, я задрёмаваю, вижу тебя и нас с тобой в кислой деревне, я больше не в силах ждать, желание разжигает меня, и я боюсь, что не смогу больше беречь, удерживать то, что принадлежит тебе, только тебе, драгоценный, с сок жизни. У меня жар и озноб, я лежу под толстым лоскутным одеялом, под низким потолком, прислушиваюсь к шелесту дождя. И понимаю, что вижу сон.

Глава VIII

Где-нибудь, когда-нибудь, в клинике, в общей палате, я лежу, придавленный обвалившимися стропилами, обломками крыши, не могу встать, не в состоянии выкарабкаться, в полутьме вокруг меня лежат заваленные люди, другие больные. Я стараюсь их разбудить, кричу им, что мы должны что-то предпринять, звать на помощь, выбираться из-под брёвен, иначе мы все погибнем. Но они молчат, не внемлют, не шевелятся. Хочу проснуться, зову к себе хриплым, неслышным голосом, никто не откликается. И наконец догадываюсь, что лежу, придавленный толстым ватным одеялом.

В эту минуту я слышу что-то подобное визгу и пению несмазанных петель, отворилась тяжёлая дверь, в из сеней в избу вошла, согнувшись под притолокой, хозяйка. Я так и не могу понять, вижу ли я её наяву, выбрался ли из тягостных видений, из сумерек сна.

Она сидит на пороге, зажав между ногами мокрую юбку, стаскивает грязные, в глине, сапоги. Но, к великому моему веселью, это вовсе не она. Оля в толстых вязаных носках неслышно ходит по комнате, ищет меня, а я молчу, ожидание счастья переполняет меня, я сбрасываю одеяло. Сейчас, бормочу я, разгребём завалы, оттащим упавшие стропила...

Оля, бормочу я, здесь я, жив — здоров, так это ты?.. Оказывается, она не утерпела, дезертировала с колхозного поля, пусть там ковыряются! Я говорю: тебя могут хватиться. Она пожимает плечами. Сами догадаются, что пошла навестить больного. А как же доцент и все остальные? Поняли, наконец, что между нами что-то есть? Она отворачивается, презрительно машет рукой, она запыхалась, с трудом переводит дух, покашливает, протискивается ко мне через загородку. Я поднимаюсь, смеясь, мы сидим рядом на моём ложе под осуждающим взглядом сумрачной Богородицы. Сейчас это совершится. Но что это там? — Мы слышим жужжание небесной стрекозы, Ольга прыгнула на пол. Это за мной, говорит она, тебе тоже пора. Нам обоим пора! Освободиться от уз безбрачия, от навалившихся стропил. Она вернулась без ватника, в кофточке и лыжных шароварах, были такие, из синей фланели, их надевали студентки, отправляясь на государственную барщину. Её глаза блестят, губы пылают, — зачем ты их накрасила? Она прижимает ко рту серое деревенское полотенце. Проснись, шепчет она, я пришла, но ей мешает говорить полотенце, неожиданно хриплым голосом она повторяет: просыпайся! Жужжит, рокочет небесная стрекоза, полотенце падает из-за облаков на плечи и грудь святой Инессы, я помогаю ей стянуть через голову кофточку, спустить бретельки рубашки, сбросить лифчик. Она ныряет ко мне.

О, эти разговоры вполголоса под одеялом. Сколько странных и смешных заклинаний, сколько милых, запретных, слов бормочут влюблённые, оказавшись вдвоём, только вдвоём,

«Потихоньку. Не сразу. Теперь можешь. Только не раздави меня».

«Потихоньку. Да! Ещё... Туда. Только не уходи. Останься во мне. Весь останься... Там. Навсегда... Никогда из меня ни уходи. Мы умрём вместе».

Она задыхается. Вцепившись в меня, изнемогая, ищет спасения. Я поднимаюсь... Кашель налетел на Олю, как чёрная птица с окровавленными когтями, с красным клювом, хлопает крыльями

над нами, целится в ямку между её ключицами, расклюёт сейчас маленькие груди, и всё твоё худенькое тело сотрясается под ударами гранёного клюва. Ты лежишь на спине, разбросав ноги, обессиленная, жадно, судорожно ловишь воздух, красноклювый хищник терзает тебя, плещет крыльями. Я оставляю Олю, я выбегаю из избы.

Глава IX

Темно-красные пятна на простыне и полотенце не оставляют сомнений, диагноз доцента Журавского: инфаркт лёгкого. Довольно обычное осложнение митрального порока. И вот, наконец, — а ведь я её слышал, знал, что будущее подстерегло нас, — гигантская стрекоза поднимает своё брюхо, над вертолётной площадкой областной больницы, блестя лобовым стеклом, вращая лопасти кильев, опускается тут же, рядом, на картофельное поле, колёса шасси мнут ботву, земля прилипает к подошвам, девушки-санитарки несут к вагону с красным крестом носилки с безногим капитаном, и мы вдвоём, я и доцент Журавский, несём носилки с колёсиками, лётчик и врач в халате поверх осеннего пальто вкатывают тебя по узким рельсам в жерло воздушного гроба, чрево санитарного вертолёта. Твоё лицо, Оля, с неподвижными заострившимися чертами маски, описанной двадцать четыре века тому назад, губы в предсмертной улыбке, и невозможная, бессмысленная и счастливая мысль о том, что в тебе осталась часть меня, капля бытия, которую ты унесла с собой в вечную жизнь.

2012

ALMA MATER

I

Балюстрада

Памяти И.А., Я. М. и непогрёбённого будущего

Из двух зданий университета, пять лет спустя после пожара Москвы воздвигнутых градостроительным гением Доменико, иначе Дементия Ивановича, Жилярди, главное, называемое Новым, выходило покоем на Моховую, Манеж и часть Манежной площади с решёткой Александровского сада. В сад входили через чугунные ворота, украшенные древнеримскими фасциями, эмблемой итальянского фашизма, от ворот широкая аллея вела к обелиску с именами полузабытых революционеров и пророков коммунизма. Снаружи, вдоль крепостной стены, перед похожими на ласточкины хвосты кирпичными зубцами и узкими, как щели, амбразурами расхаживал часовой. За стеной жил диктатор. Вечерами, на исходе сороковых годов, над всем этим великолепием сияло багровое созвездие Кремля. Цвет и сверкание башенных светил напоминали карамельных петушков на палочках нашего детства.

Вокруг Манежа, вдоль по Моховой и мимо ограды университета были вырыты ямы, подъезжали грузовики с ящиками, где покачивались в земле тоненькие 15-летние липы, привезённые издалека. Рабочие выгружали и опускали ящики в ямы, вынимали доски, поверх каждого саженца укладывалась по частям железная решётка.

К Новому зданию направлялись, обходя полукругом монумент Отца русской науки, чьим именем университет был освящён лет десять тому назад. Лунноликий кумир с сардельками парика на висках, в камзоле и коротких штанах стоял, опираясь на глобус, и дер-

жал в другой руке подзорную трубу, которую неосторожный ваятель поместил так неудачно, что при взгляде со стороны под определённым углом она походила на восставший детородный член.

Отсюда по ступеням крыльца, через вестибюль, мимо начальной сторожихи — вперёд, и вот уже глазам посетителя предстаёт парадная лестница, и два ряда якобы мраморных колонн, наверху розовато-морковных, внизу серых, как ливерная колбаса. Вполне реалистическое сравнение, порождённое голодным воображением студента послевоенной поры.

Это была пора юности мятежной, время необыкновенных надежд, нищеты, незрелой молодости, мечтаний о любви и какого-то нескончаемого самопоения. Каждый из нас был гений. Университет распахнул перед нами двери. Будущее на пороге. Рискну утверждать, что похожим было настроение всего молодого поколения тех лет, да и не только молодого. Ждали, что после войны наступит новое время и новая жизнь; военные годы отмели прочь марксистско-ленинское вероучение; злодеяния Большого террора были забыты; в деревнях ходили слухи об отмене колхозов; никому, кажется, не приходило в голову, что в числе виновников войны, отступления первых месяцев и гибели миллионов людей на первое место нужно поставить гениального вождя и величайшего полководца всех времён и народов, как он стал теперь себя называть, буквально повторив ухнувшего в преисподнюю Гитлера. Прошлое было похерено, победа искупила все промахи, преступления и беды, и люди, опьянённые этой победой, проходившие мимо заново перестроенной и надстроенной цитадели на площади Дзержинского и не подозревавшие о том, что творится и готовится там внутри, не ждали и не гадали, что на самом деле наступает — если уже не наступило — одно из самых гнусных десятилетий советской истории.

Мы — это были я и мой друг, ныне покойный поэт Я.И. Меерович (Яков Серпин), нас связывало многое. Нас повязала вместе юность — главное время жизни. Несколько риторически можно было бы сказать, что нас связывала эпоха. Можно (это бывает нечасто) назвать конкретную хронологию этой эпохи: она началась для нас в первые дни мая 1945 года, с концом войны, во время которой мы были подростками, и окончилась осенней ночью 1949-го, когда мы оба были арестованы тайной полицией по доносам нашего товарища и сверстника и приговорены Особым совещанием, я к восьми, Яша к пяти годам лагерей. Всё повторяется, и мне казалось,

что мы последовали примеру Герцена и Огарёва, о которых, как рассказывает автор «Былого и дум», некая тётушка отозвалась так: «Кучка студентов напугала tout le gouvernement... срам какой». Могли я гордиться тем, что от наших крамольных разговоров перепугалось всё правительство?

Она была короткой, эта юность, но её насыщенность была такова, что при взгляде сквозь даль полу столетия она кажется очень долгой. Весна первых послевоенных лет оказалась, как это бывало не раз в истории нашего отечества, не только недолговечной, но и ложной, — на самом деле это была оттепель. Мы поступили в Московский университет ранней осенью сорок пятого, оба были, в числе немногих мужчин, самыми молодыми на курсе. Нас связывали и оба этих дома Дементия Жилиярди, и почернелые фигуры Герцена и Огарёва перед Старым зданием, и каменный непристойный Ломоносов, и лестница и балюстрада аудиторного корпуса.

Эта лестница! Под сенью алебастровых вождей, торжественная, высокая, многоступенчатая, — избегаешь через ступеньку, минуя два марша, там площадка — можешь передохнуть, в чём, разумеется, не было необходимости. С площадки ещё два марша расходятся в обе стороны, левый к дверям большой, так называемой Коммунистической, бывшей Богословской, аудитории, правый — на галерею. И, наконец, вот она, обещанная заголовком этих записок ампириная балюстрада с трёх сторон ограждает proud парадной лестницы.

Балюстрада, вечное местопребывание... Здесь торчали долгими часами, болтали, стояли, обложившись книгами, поставив ногу на фигурный столбик балясины, готовились к занятиям, прохаживались, прошвыривались вдвоём и в одиночку по окружной галерее, мечтали, ждали кого-то. Здесь, собственно, и находилась наша старая alma mater, университет, мать-кормилица, здесь билось её гостеприимное сердце. Балюстрада и лестница — прибежище от невзгод, от мук неприкаянной юности, безответной любви.

Как-то раз, болтаясь у балюстрады, я увидел девушку в круглой барашковой шапке, глубоко надвинутой на лоб, она прыгала вниз по лестнице, короткая юбка порхала над коленками, и с каждым прыжком подсакивала под крахмальной кофточкой её грудь. Это была Оля Дёконова, полужнакомая, никакой роли не сыгравшая в моей жизни.

Отсюда, глядя сверху вниз, я увидел впервые Иру Авербах, сестру известного шахматиста, она стояла возле бессонной сторожики, в лёгком платье, красном с белым нагрудником. Не было такого места на любой из четырёх сторон балюстрады, которое не соединилось бы для меня с памятью о каком-нибудь, хотя бы и малозначительном, мимолётном эпизоде.

Наверху над площадкой, где раздваивалась лестница, между двух псевдомраморных, пачкающих мелом постаментов с циклопическими статуями вождей, положив книгу на плоскую поверхность балюстрады, я читал по-немецки первую сцену Фауста II — пробуждение спящего доктора Фауста на рассвете, на лугу в цветах, — и слышал пение Ариэля, хор духов и грохот небесных ворот, возвещающий о рождении дня. Поблизости сочинялось курсовое сочинение на тему «Прометей у Эсхила и у Гёте»... Внизу, на противоположной стороне, я с не достойным поощрения любопытством перелистывал запретный «Дневник писателя» Достоевского. Зато рядом, в известной всем 66-й аудитории слушал лекцию доцента Белецкого о «Братьях Карамазовых» и легенде о Великом инквизиторе и пришёл к выводу, что Ленин, случись ему вновь, как Христу в легенде, явиться в наше время, разделит бы предписанную инквизитором участь Христа — был бы расстрелян как враг народа...

Слева, по-прежнему на балюстраде, я переводил на все тот же немецкий язык замечательный зачин «Скучной истории»: «Есть в России заслуженный профессор Николай Степанович такой-то...». Поздно вечером, когда над галереей зажигались жёлтые шары и пустел читальный зал библиотеки филологического факультета, я простоял три часа у балюстрады, слева от лестницы, прислонясь к морковной колонне, ждал Иру, подстерегал у выхода из читальни, следил за всеми выходящими. И так и не дождался.

II. Факультет и Новая Касталия — Классическое отделение

Факультет помещался в левом флигеле Старого здания, на четвёртом, последнем этаже; прогуляйся по Моховой от ресторана «Националь» мимо американского посольства, геолого-разведочного института и дальше до университетской ограды — слева широкая, просторная Манежная площадь, позади Кремль и Александровский сад, — и, не доходя до устья впадающей в пло-

щадь улицы Герцена и трамвайной линии найдёшь в конце ограды узенькие воротца; сойди по двум ступенькам в сквер — и окажешься перед входом во флигель. Но сперва *sta viator* — путник, остановись! По углам сквера в кустах, ближе к колонному фасаду, сторожат чёрные от столичной копоти статуи братьев по клятве на Воробьёвых горах Герцена и Огарёва.

Этажом ниже нашего филологического факультета располагался другой, презираемый философский, который готовил кадры толкователей и преподавателей марксизма-ленинизма. Туда, как и к нам, добирались по лестнице вокруг столбов, ограждавших колодец, который пригодился бы для лифта. Но лифта не существовало, и, взбегая наверх, можно было обогнать седовласого профессора с портфелем подмышкой, медленно, тяжко, цепляясь за перила, переступающего со ступеньки на ступеньку. Наконец, последний этаж: входная дверь и окно с подоконником, на котором иногда происходили занятия, за недостатком свободных аудиторий; мы жили в эпоху универсального дефицита, нехватки всего — жилья, еды, одежды, местечка для ноги на подножке переполненного трамвая.

При входе на факультет попадали в тесную, скудно освещённую прихожую, некогда служившую раздевалкой, надобность в которой отпала с наступлением холодов: в нетопленных помещениях сидели, не снимая пальто. В прихожей встречал швейцар, чьей обязанностью было звонить к началу занятий, здесь же можно было увидеть старца в белых усах, с бородкой клинышком: он сидел в углу, в шубе и шапке, поставив рядом палку, с книгами на коленях, дожидаясь звонка. Это был знаменитый эллинист и латинист, патриарх и великий магистр отечественной классической филологии, студент Московского университета выпуска 1898 года Сергей Иванович Соболевский. Как ему удавалось взобраться на последний этаж, было загадкой. В последние годы, впрочем, он уже не появлялся на факультете, читал лекции старшекурсникам у себя на дому.

Мы были вчерашними школьниками, а наши менторы — стариками. Революционное мракобесие двадцатых годов разрушило традиционную систему гуманитарного образования, было ликвидировано преподавание древних языков в средней школе, заодно упразднена и вся классическая филология. Знатоки латыни и греческого, словно адепты тайноведения или сторонники

гонимой секты, скрылись в катакомбах — разбрелись кто куда. Лишь спустя десятилетие репрессированная античность была реабилитирована, в некоторых гуманитарных вузах появились классические отделения.

Результатом был разрыв поколений, от которого мы, новоиспечённые студизосусы, только выиграли: мало-помалу, непрямо и неназойливо наши учителя, превосходные педагоги, полиглоты и гуманисты, приобщали нас к рафинированной культуре, могиканами которой они были, учили не только языкам и благородному стилю Цицерона и Цезаря, Ксенофонта Афинского и Платона, но и прекрасному русскому языку, на котором говорили и писали они сами.

Классическое отделение, самое малочисленное на факультете, состояло из трёх групп, в каждой 8–10 студентов. Латынь в нашей группе преподавал Андрей Николаевич Дынников, маленький сухонький, немного комичный и прелестный в своей безграничной преданности предмету, весной и летом всегда в одном и том же сюртуке с накладными карманами, осенью и зимой в поношенной антикварной шубе до пят. Комментируя строчку Саллюстия из «Заговора Катилины», задав вопрос и ожидая ответ от студентки (девушки были в эти послевоенные годы в большинстве во всех отделениях), он стоял, открыв рот, с поднятым пальцем. Дынников, среди прочего специалист по так называемой вульгарной латыни, вёл факультатив по этому наречию римского плебса, ставшему предком романских языков, и руководил кружком, где мы переводили «Апологию» Апулея. Мы собирались подготовить к печати первый русский перевод замечательного памятника серебряной латыни второго века, но в разгар работы наш учитель умер.

Павел Матвеевич Шендяпин, шестидесятилетний, красивый среброголовый старик, немного похожий на Станиславского, с отменными манерами, величественный и суровый с виду, в действительности добрый и отзывчивый, в несменяемом чёрном костюме, с выступающими из рукавов крахмально-белыми, но заметно потёртыми манжетами, вёл греческий. В отличие от Дынникова, который в перерывах извлекал из брюк жестяной портсигар, наполненный махоркой, и сворачивал самокрутку, Павел Матвеевич курил на занятиях «Казбек». Доставал из коробки длинную папиросу, не спеша вставлял в рот и, держа перед собой горящую спичку, продолжал говорить густым и звучным, хорошо поставленным голосом.

Ὁ δεινὸς δέσποτα! (О грозный властелин!) — великолепным своим голосом восклицал Павел Матвеевич, подражая древнему оратору, дабы продемонстрировать употребление греческого звательного падежа.

Фёдор Александрович Петровский, переводчик Лукреция, высокий, вальяжный, элегантный, работавший не в университете, а в Институте мировой литературы, вёл курс «Латинские авторы». Он входил в аудиторию с грузом книг, раскладывал их перед собой, произносил какой-нибудь каламбур и начинал свой академический час с того, что, открыв абзац разбираемого классика, перелистывал книги, — это были переиздания и переводы античного оригинала на живые языки, — читал и обсуждал конъектуры филологов разных стран и эпох.

Одно время я посещал факультатив по санскриту. Язык классической поэзии и философии Древней Индии не входил в учебную программу, но занятия вёл известный лингвист Михаил Николаевич Петерсон, сын Николая Петерсона, фантастического эрудита, ученика и последователя Николая Фёдорова, чью гротескную философию Общего дела он умудрился изложить в стихах. (Само собой, мы в те времена слыхом не слыхали о Фёдорове.) Профессор Петерсон, который на факультете появлялся редко, был странный человек не вполне обычного телосложения, по-женски широкобедный, любезный и улыбчивый, приторно-вежливый, такой же необъятный полиглот, и полигистор, каким был его забытый ныне отец.

Фигурой номер два в отделении после Соболевского был Сергей Иванович Радциг, выпускник Московского университета 1904 года, заведующий кафедрой классической филологии; некоторые его черты я придал профессору Данцигеру, персонажу моего романа «К северу от будущего»; он стал у меня, правда, специалистом не по античным, а по западным литературам — германским и романским. Для вновь принятых студентов Радциг устраивал чтения под названием «Введение в античность», напоминал о том, что фронто́н Большого театра венчает квадрига, управляемая Аполлоном; декламируя по-гречески гексаметры «Илиады», пел, имитировал исчезнувшее ионийское музыкальное ударение. Когда однажды на кафедре отмечалось, если не ошибаюсь, 70-летие С.И. Радцига, маленький, большеносы́й, похожий на птицу, в клинообразной академической бородачке именинник обратился к коллегам и подопечным школярам-классикам с прекрасной, выдержанной в духе и традиции античного ораторского искусства речью на золотой латыни.

Много лет спустя, в другую эпоху, возвратившись из лагеря, с волчьим билетом вместо паспорта, я заглянул на кафедру на третьем этаже Старого здания, повинувшись тому же необъяснимому влечению, которое тянет преступника к месту преступления. Радциг был единственным человеком, который встретил меня ласково и даже предложил мне пересдать заново все экзамены (я был арестован на V курсе), обещав свою помощь. Милая, трогательная наивность.

Классическое отделение филфака — осмелюсь ли назвать этот далёкий от окружающего советского мира островок Духа, братство ревнителей и хранителей потонувшей культуры, компиляторов и интерпретаторов, — назвать его маленькой Касталией Германа Гессе?

Непостижимым образом идеологическое беснование, сигналом к которому послужили идиотские постановления поздних послевоенных лет, беснование, тотчас охватившее самое крупное, русское отделение, первоначально обошло стороной наше маленькое отделение, чересчур мудрёное для дремучего партийного начальства и державшееся в относительно безопасном отдалении.

Но это продолжалось недолго, надвигались зловонные времена. Стареющий каннибал, уединившийся в своей кунцевской крепости, окончательно утратил связь с внешним миром, с реальной действительностью и превратился в священный Портрет. Придворный живописец изобразил его великаном в парадном мундире с широкими, как доски, погонами и брильянтовой звездой Победы на шее, в столбах несгибаемых брюк с красными лампасами, стоящим в кабинете Кремля перед окном с панорамой праздничной Москвы. Придворный актёр играл на экране говорящий портрет. Хор гремел кантату Шостаковича «Сталину слава навеки, навеки!» Поклонение вождю приняло клинические формы и напоминало средневековые эпидемии массового помешательства.

Гниlostное поветрие дошло, наконец, до нашей обители. Появились невозможные в этих стенах новые люди. Заместителем декана вместо прежнего, бранчливого, заботливого и любимого студентами стал некто Василёнок, никому не известный специалист по белорусской литературе, креатура партийных или, возможно, других органов. На классическом отделении приземлились вновь принятые полуграмотные студенты, выдвигенцы парткома. Был уво-

лен — уже после нашего ареста — профессор Сергей Иванович Радциг. Как античный мир в первые века нашей эры погиб под натиском диких орд, так пошатнулось от нашествия варваров и едва не рухнуло классическое отделение

III. Коммунистическая аудитория

Затрудняюсь сказать, в каком из послереволюционных лет большая аудитория превратилась из Богословской в Коммунистическую; произошло это, кажется, в начале двадцатых годов, — переименование, по-своему логичное, знаменовало замену одного вероисповедания другим.

Толпа студентов-филологов вваливалась в Комаудиторию, где читались лекции по предметам, общим для всех отделений через двери на галерее, сбоку от высящегося над парадной лестницей дуумвирата вождей — справа Ильич, в просторечии Лукич, с круглым, как глобус, алебастровым черепом, в интеллигентной тройке и огромных башмаках фасона революционные говнодавы, слева Великий Ус в сапогах и долгополой шинели. Весёлая, журчащая болтовнёй и смехом девушек толпа втискивалась, рассаживалась по рядам амфитеатра, поднимавшегося от помоста, где в зависимости от обстоятельств находились пульт оратора, стол президиума либо столик и кресло для профессора, через двери на галерее, сбоку от высящегося над парадной лестницей дуумвирата вождей — справа Ильич, в просторечии Лукич, с круглым, как глобус, алебастровым черепом, в интеллигентной тройке и огромных башмаках фасона революционные говнодавы, слева Великий Ус в сапогах и долгополой шинели. Весёлая, журчащая болтовнёй и смехом девушек толпа втискивалась, рассаживалась по рядам амфитеатра, поднимавшегося от помоста, где в зависимости от обстоятельств находились пульт оратора, стол президиума либо столик и кресло для профессора.

Но забраться сюда можно было иным путём, через подвал по узкой потайной лестнице на балкон, откуда открывался вид на всё собрание. Преимущество балкона состояло в том, что здесь, если лекция начиналась рано, в 8 утра, можно было соснуть на часок. Но не единственное преимущество. Позволю себе упомянуть ещё раз одно из моих сочинений, посвящённых Московскому университету

тех лет. С балкона Коммунистической аудитории бросает в амфитеатр листовки с неприличным воззванием юный Марик Пожарский, герой романа «К северу от будущего», — деяние, неотвратимо повлекшее за собой заслуженную кару.

Ту же судьбу — молниеносный арест и бесследное исчезновение — разделили два наших профессора, Москаленко и Кокиев: первый читал в Комаудитории курс лекций по диалектическому материализму, трактату Лукича «Материализм и эмпириокритицизм» и тому подобным предметам, второй — его лекции как раз и начинались в восемь утра — читал историю Древнего Востока. Незачем было пытаться узнать, почему и за что погорели Кокиев и Москаленко, ибо «органы не ошибаются» и это, собственно, означало: ни за что; да и поминать по какому бы то ни было поводу кровавую гадину, торжественно именуемую государственной безопасностью, не полагалось.

Профессор Москаленко был талантливым лектором, которому удавалось несколько неожиданно увлечь студентов своей теологией умершего бога, что весьма подходило, по иронии судьбы, к прежнему названию Коммунистической аудитории. Заместителем сгинувшего Москаленко стал человек, немедленно награждённый прозвищем гвардии доцента. Он маршировал по эстраде в сапогах и гимнастёрке травянистого цвета и разоблачал субъективный идеализм Беркли, которого называл «поп Беркли» с ударением на втором слоге.

С профессором Кокиевым я встретился в Бутырской тюрьме. Это случилось в большой камере, битком набитой заключёнными, которых согнали после окончания изнурительной многомесячной процедуры, которая в этом учреждении называлась следствием, для оповещения о приговоре. Происходило это так. Вас выводили в коридор и соседнюю камеру, там сидел за канцелярским столом плюгавый человек в гимнастёрке без погон. Он вручал машинописный листок с кратким уведомлением о том, что дело рассмотрено Особым совещанием и вам вклеили такой-то срок. Полагалось расписаться, после чего осуждённого водворяли обратно.

Кто-то, узнав, что я московский студент, подвёл меня к пожилому человеку, сидевшему на полу в углу возле стены с совершенно убитым видом. Я сказал профессору, что сдавал у него зачёт и провалился. «А сколько, — спросил Кокиев, — вы получили на этом экзамене?» Я ответил: восемь лет. По тем временам (1949 г.) это был небольшой срок

Осенью первого послевоенного года в Коммунистической аудитории состоялся вечер поэтов-фронтовиков. Ведущий — кажется, один из преподавателей русского отделения — сделал доклад, за столом сидели поэты: Семён Гудзенко, Александр Межиров, Сергей Орлов, Вероника Тушнова. Главной фигурой вечера был статный красавец Гудзенко. Он читал стихи, вскоре ставшие популярными. Межиров, стоя на эстраде в темно-зеленой английской шинели, с лунатическим видом, преодолевая заикание, читал стихи о боях в Синявинских болотах и ставшее знаменитым неизбежное «Коммунисты, вперед!». Тушнова негромким голосом, не рубя кулаком, как тогда было в обычае, исполнила отрывок из поэмы «Дорога на Клухор». Орлов, в бороде, прикрывшей рубцы от ожогов на лице, — он едва не погиб в горящем танке — читал стихи за пультом, из-за которого высывалась его голова.

Начиналась памятная пора всеобщего необыкновенного увлечения стихами. В клубе университета на улице Герцена собирались участники поэтической студии, ею руководили именитые стихотворцы — сперва Вл. Луговской, несколько позже С. Кирсанов.

Буй-тур Луговской, как окрестил его известный пародист, был чрезвычайно импозантен, басовит, густобров; однажды он привёл в студию мрачного вида детину с перебитым носом и представил его как автора поэмы, в которой «есть интересные ходы». На что автор возразил, сильно напирая на о, что поэма большая, в ней десять тысяч строк, и он прочтёт отрывок. Это был Михаил Луконин, будущий литературный функционер.

Смерть Гудзенко от последствий черепно-мозгового ранения, которую поэт предсказал сам («мы не от старости умрём, от старых ран умрём»), обозначила конец молодой военно-фронтowej поэзии; идеологические постановления поощрили возродившееся виршеплетение рептильных одописцев. Их смела новая волна эстрадно-массовой поэзии, представленной именами Евг. Евтушенко, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной и Р. Рождественского. Время несло со скоростью звездолёта, постепенно умолкли и эти голоса...

ИЗ ВЕЩЕСТВА ТОГО ЖЕ

Я вернулся в мой город...

Некоторые считают, что писатель не может творить, оторвавшись от стихии родного языка — простившись с отечеством. Я и сам чувствую свою отверженность, и теперь, принимаясь за эти отнюдь не созвучные духу времени записки, замечаю, что невольно впадаю в старомодный тон. Но этого требует мой сюжет.

Случилось так, что я вернулся после одиннадцатилетнего изгнания в город, который, собственно, и считал своим отечеством; обстоятельства мои не располагали к долговременному визиту, не говоря уже о том, чтобы остаться навсегда. У меня был запас свободного времени, для начала хотелось прогуляться по родным местам. Мне не нужен был план города — путеводителем служила мне моя память. Первым делом я отправился на улицу Кирова, бывшую Мясницкую. Если вы сейчас спросите у прохожих, что за птица был этот Киров, — вам едва ли кто ответит. Разве только пожмёт плечами: так... был такой. Тёмная личность. Быть может, мне не поверят, если я скажу, что помню, как по Мясницкой ещё ходил трамвай, помню последних извозчиков в ближних переулках. Здесь всё давно стало бывшим.

Погода улыбнулась паломнику. Естественно, я шёл пешком. Миновал Кривоколенный переулок; долго разглядывал музейную вывеску. Нельзя быть истинным москвичом, не зная об этом, в общем-то, ничем не замечательном переулке. Такие названия, как Покровка, Маросейка, Армянский переулок, Чистые Пруды, Красные Ворота, звучат для меня как топонимы античной географии. Тут-то я и почувствовал, куда меня занесло. Мне казалось, люди оглядываются на меня. Дойдя до поворота в Большой Козловский, — некогда тут помещался писчебумажный магазин, где можно было

купить тетрадку в клетку или в линейку, стальное перо «селёдочку» или «рондо», — я обогнул угол и побрёл, крадучись, по привычке школьных лет, мимо дома 42, обиталища уголовной шпаны, — к счастью, двор был закрыт — и зашагал со спокойной уверенностью старожилки вдоль каменной ограды более не существующего чехословацкого консульства. Вспомнилось, как мы, дети, столпились вокруг, остановившейся перед входом в консульский особняк машины, из которой вылезал элегантный офицер в погонах, — нечто невиданное в те времена. Дальше... стоп, внимание! Десяток другой шагов, ещё один поворот, мы у цели. Вообразите, дом, наш дом, был передо мной, и мертвенно поблескивали окна первого этажа, — кто теперь там обитает? Я мог бы и сейчас назвать фамилии всех квартирантов.

Правее от окон расположены глухие железные створы ворот. Толкнулся — ворота были захлопнуты, — и повернул назад по направлению к Большому Харитоньевскому и Чистопрудному бульвару. И стало ясно охваченному ознобом бездомности, что ничто и никто в этом царстве сна его не ждёт. У сновидца возникло ощущение, что он пробудился.

Из вещества того же, что и сон, мы созданы, говорит шекспировская героиня, *и наша жизнь кругом объята снами*. Навязчивость одних и тех же грёз подтверждает слова Миранды. Впрочем, не заметить, как много нового и чужого здесь появилось за эти годы, было бы невозможно: город, знаемый наизусть, стал неузнаваем. Однако свежие впечатления недолговечны, старое не желает примириться с новым. Память не терпит конкуренции. Сны непогрешимы.

Всё же мне предстояло — на то я и литератор — написать об этом. Платон (позволим себе ещё одну цитату) говорит в «Федоне», что сны побуждают к поэтическому творчеству. Следовало бы подробнее отчитаться перед собой или воображаемым читателем об этом путешествии, что я и собираюсь сделать. Итак, продолжим: войдя в переулок, хранящий имя домовладельца, которому принадлежал дом, отстроенный заново, как утверждают, после пожара Москвы 1812 года, иноземец узрел воочию то, о чём грезил не одну творческую ночь: дом и ворота. Первая мысль была, как ни странно, о дворнике. Иван Сергеев, суровый мужик в холщёвых портах на крестообразных помочах и в белом фартуке, униформе столичных дворников, которую они донашивали с до-революционных времён, запирает ворота от незваных гостей —

бродячих певцов, гадалелей, собирателей съестных отбросов, мелкого ворья и хулиганья, которым кишела округа дома № 42. Жив ли был ещё наш дядя Иван?

Между тем приспела пора возвращаться: приедем всегда приходится спешить. Мне, однако, вновь повезло. Побродив взад-вперёд перед домом, я ещё раз нажал на ворота. Чудо — створы приоткрылись. Протиснуться в щель для подростка, в которого — хоть и непостижимо, но почему бы и нет? — я сейчас же превратился, не составляло труда.

Волнуясь и воображая себя вернувшимся блудным сыном, я стоял под аркой ворот; слева, как встарь, был мусорный ящик с поднятой крышкой, — кто-то забыл захлопнуть. Впереди зиял вход во двор. Я знаю наш старый двор наизусть, как «У лукоморья дуб зелёный»: каменный мешок, — вот оно, подлинное моё отечество. Всё тут, если кто читал, сто раз описано в моих сочинениях, всё — плагиат у самого себя и рёбра ржавеющей в ожидании зимы снеготаялки, и пожарные лестницы, и ребяческие письма мелом на асфальте. По-прежнему слепо отсвечивали окна этажей — в эту минуту солнце украдкой проникло в пропасть двора. Задрав голову, гость увидел над окоёмом крыш и кирпичным брандмауэром голубые поляны неба.

Но сам двор на удивление оказался мал, стиснутый между стенами дома, всё-таки я воображал его себе иначе. Трудно было сейчас представить, как мы могли носиться наперегонки в такой тесноте, от одного чёрного хода к другому.

Тут меня окликнули. Не напрасно вспомнилась наша беготня. Вздрогнув, я обернулся. Надобно признать, что приключение, подстерегавшее меня, принадлежало к числу тех, в которые одновременно веришь и не веришь, притом, что автор — таков парадокс литературы, — готов ручаться за подлинность своего рассказа.

«Ты?!» — спросил я ошеломлённо и, как говорят в таких случаях, не веря глазам своим. И тотчас догадался: ведь подсознательно я её ждал! Думал о ней, не отдавая себе в этом отчёта, бродя по переулку, колотясь в ворота. А это была Лида, точнее Лидка. старшая дочка дяди Ивана и дворничихи, которая, помнится, выходила иногда во двор с ведром картофельных очисток для могучих, медлительных першеронов, влачивших грузовые телеги по булыжной мостовой мимо дома и двора.

Верьте мне, это была она, Лида, живая, как в жизни, и сама жизнь, Лида, которую никто не мог обогнать, крепконогая, круглолицая, почти на голову выше меня и на год старше, в ситцевом платье до коленок, под которым уже обозначились начинавшие округляться бёдра. И ещё одно, новое и взрослое, я сейчас заприметил у неё: чуть повыше талии два пригорка — то была зашифрованная в тринадцатилетней девочке красота женщины.

«Не узнаёшь? А я тебя сразу узнала».

Она меня узнала! И даже назвала по имени, словно вместе с именем я привёз с собой полузабытое прошлое. Я молчал, как зачарованный смотрел на Лиду. Мне нужно было время, чтобы окончательно ощутить себя одним из тех, кем были мы все, весь двор. Обоих, меня и Лидку, дразнили женихом и невестой.

Она прибавила, подбоченившись:

«Я знала, что ты приедешь».

Я пролепетал:

«Знала... откуда?..»

«От верблюда. Зачем?» — спросила она.

«Что зачем?»

«Зачем приехал».

Это был главный вопрос. Я ответил на него как мог.

«За Смыслом».

Ещё несколько минут прошло в обоюдном молчании. Мне казалось, что она хочет — и почему-то не может — произнести что-нибудь, ждёт, когда, наконец, заговорит тот, кем я был и никогда больше не буду.

«За каким это Смыслом? За мной?» — спросила Лидия.

Я ответил:

«Смысл — это женщина. Ты и есть Смысл».

«Я ещё не женщина», — возразила она и погладила себя ладонями от груди до бёдер.

«Хочешь, — брякнул я, сам не понимая, что говорю, — поедем со мной?»

«Куда это?» — надменно спросила Лидия. Облив меня презрительным «взором, прошлась, танцуя, мимо меня, по двору, ставшему таким нешироким. Она остановилась. Я был зеркалом, в которое она смотрелась, и заметил — ибо зеркало всё видит, — что она покачивала бёдрами, разумеется, намеренно. Прогуливаясь, она напевала: «Тили-тили тесто, жених и невеста...»

Я решился.

«Последний раз предлагаю. Поедешь со мной?» — и повернулся к выходу.

«Ты куда?»

Я возразил, что мне надо закончить рассказ. А времени осталось немного».

«Ты пишешь рассказы?»

«Да. Разные... Вот, например, этот».

«Тебе, наверно, пора в аэропорт, — проговорила она задумчиво, видимо, не зная, что воздушного сообщения ещё не существует. — Постой, нам надо попрощаться. Подойди поближе. Хочешь меня поцеловать?»

«Ты не умеешь целоваться», — сказала она, когда наши губы, соединившись на мгновение, расстались. — А здесь хочешь?» — и отколупнула одну за другой пуговицы на груди.

На всякий случай я спросил:

«Можно мне?»

Она раздвинула платье, я приник к ней. Она вырвалась. Сноvideц знал, что он её не догонит.

Считается (некоторые разделяют эту точку зрения), что писателю необходимо жить среди своего народа, в стихии родного языка: покинув отечество, он обрекает себя на молчание. У меня нет собственного мнения на этот счёт.

2014

ПАЛОМНИЧЕСТВО ЗА ОГНЕННУЮ РЕКУ

Tief ist der Brunnen der Vergangenheit.

Th. Mann

Прошлое — колодец глубины несказанной.

Т. Манн, пер. С. Анта

Прошлое — это бездонный колодец, говорит Томас Манн, вычерпать его бессильна человеческая память. Прошлое, наше собственное прошлое, стоит за каждым из нас, и у каждого есть своя античность, своё Средневековье, своё Новое время. Этот колодец достаточно глубок, чтобы, склонившись над ним, почувствовать головокружение.

1

О своих предках я ничего не знаю. Известно только одно, что они были земледельцы и пастухи, после многих скитаний, потеряв свою землю, стада и богатства, они рассеялись по египетскому, греческому и романскому Средиземноморью, пережили Персидское царство и Халифат, расселились в Священной Римской империи. Гонимые отовсюду, подались на славянский восток. В конце концов, после третьего дележа Польши, они стали добычей хищного двуглавого орла. Тысячелетия приучили их глядеться в мёртвые воды колодца, называемого историей, и видеть там своё отражение. Так они прибыли в в новый Ханаан — Россию. Ум, не изверившийся в историческом разуме, нашёл бы такой финал провиденциальным.

2

Зовусь я Геннадий Моисеевич Файбусович. Моё паспортное имя Героним представляет собой гибрид греческого Иероним и древнееврейского Грейнем — имени моего деда. Что касается псев-

донима Борис Хазанов, его подарил мне ради конспирации редактор подпольного машинописного журнала; предполагалось, что тайная полиция не станет разыскивать реального носителя этого имени. Неизвестный мне инженер Б. Хазанов не имел отношения к диссидентскому движению. Говорят, он уехал в Америку. Конспирация не помогла, псевдоним был разоблачён. С тех пор — дело происходило в 70-х годах — он украшает мои сочинения.

3

Первоначальные годы моей жизни прошли в обеих столицах России, под стук её двух сердец. Но ближайшие мои предки не были горожанами. Мой отец происходил из городка Новозыбков Брянской губернии в черте оседлости, зато родиной матери был настоящий город — белорусский Гомель. Я рождён и вырос в русском языке. Язык, — а не страна, чья глухонемая, каменная враждебность встречала и провожала меня всю жизнь, — моё единственное и несменяемое отечество. Смутно помню, как моя мама учила меня правильному произношению, например, как надо выговаривать звук «л», повторяя: «ложка, лошадь», — а я говорил «уошадь». Это было уже после того, как мы переехали в 1930 году в Москву из Ленинграда, где 27-летняя мама, пианистка, и 28-летний отец, служащий, жили на углу Невского проспекта и Фонтанки; там я провёл первые два года. Дома этого не существует, в него попал артиллерийский снаряд во время ленинградской блокады.

4

Итак, Москва... Выйдя из гостиницы на шумной и тесной, с детства памятной улице, где когда-то находилась церковь Покрова Богородицы, откуда и название улицы, я перешёл на другую сторону в толпе, едва успевшей пробиться сквозь лавину машин, изрыгающих газ и смерть. Далее, повернув налево, обогнул здание, где когда-то помещался рыбный магазин, славившийся своим аквариумом, и дошёл до всё ещё сохранившейся бульварной ограды. Это были Чистые Пруды, то есть, собственно, один пруд, где однажды пятилетним ребёнком, науськиваемый бесом приключений, я провалился под лёд. Чистопрудный бульвар, тот самый, где миниатюрные китаянки с цветами в чёрных волосах продавали набитые опилками мячики на резинках — московский раскидай, знай-подкидывай-кидай, бумажные вертушки и «уди-уди». Здесь

соблазняли рубиново-красными петушками на палочках для облизывания. Здесь мороженщик в белом фартуке выгребал алюминиевой ложкой из запотевшего цилиндра сливочное мороженое, накладывал в форму и накрывал вафельным кружком с выдавленным именем покупателя, здесь величественный верблюд, ведомый погонщиком, шагал по кругу с двумя корзинами меж мохнатых горбов, из корзин, как грибы в лукошках, высовывались головы детей. Сильные руки подхватывали меня под мышки, выхватывали из корзины и ставили на землю. Отсюда, вспомнив и позабыв всё на свете, я поплёлся по ближним переулкам, некрополю детства, украдкой поглядывая на прохожих, словно восставших из могил.

5

Оставив бывший бульвар, я углубился в узкий и безлюдный, некогда казавшийся длиннощитом Большой Харитоньевский переулок, опять-таки наименованный в честь малоазийского мученика Харитона, чья церковь, обречённая сносу, взлетела на воздух ещё на моей памяти. Так я достиг, сходя в пока ещё неглубокую шахту времени, Малого Харитоньевского и Фурманного. Тут, если двигаться по направлению к Садовому кольцу, два шага остаётся до ближайшей цели.

6

Юсуповский сад! Называть ли по-прежнему садом клочок земли, осенённый старыми клёнами, где мы подбирали жёлтые клеёчатые листья, прыгали на одной ножке по широким полуразрушенным ступеням парадной лестницы и взбирались на эспланаду перед диковинным, под шахматной кровлей, дворцом потомка татарских мурз? Но довольно — разбуженное время тянет к себе, тащит назад за собою, вдоль высокой, узорной, в чутунных листьях решётки сада за угол, — путь, которому мы плелись следом за Эрной Эдуардовной, строгой белокурой дамой в голубых букольниках, взявшись за руки, парами, болтая по-немецки, потому что по-русски разговаривать было запрещено.

7

Отсюда по Большому Козловскому, по правую руку (внимание!), поднимается, всплывает из мистического тумана четырёх- или трёхэтажный дом № 3/2. Окна в кирпичном обрамлении на-

поминали юному филателисту почтовые марки с зубцами. Перед подъездом, на табуретке, на солнышке сидит лысый пергаментный дед Старый Сусел, муж жилички Раисы Григорьевны Козловской, суетливой, вечно озабоченной женщины с лицом как мордочка грызуна, чему она обязана своим прозвищем Суслик. Супруги обитали в большой комнате на первом этаже, куда сперва мы вселились после переезда в Москву в 1932 году; помню я и эту комнату. Помню, как однажды моя мать выбежала в страхе, в одной рубашке, — она всегда лежала в постели — в коридор, когда я открыл дверь смуглой огненноглазой тётке в пёстрых юбках, с блестящими смоляными волосами, — считалось, что цыганки крадут детей.

8

Весной 34-го в Басманной больнице от болезни сердца умерла тридцати трёх лет от роду моя мама. От неё остались пианино и кипа нот. С тех пор она лежала в нише колумбария Старого Донского кладбища, за мраморной дощечкой с медальоном и надписью «...от скорбящих мужа и сына». Меня воспитывала, как Ходасевича, простая женщина, русская крестьянка Анастасия Крылова. Года через полтора-два после смерти матери папа обменял большую комнату на две поменьше в коммунальной квартире номер 9, в угловой части дома. Два наших окна — мимо них я сейчас прохожу — выходят в Козловский, третье, поменьше, заглядывает во двор, а подъезд, так называемое парадное, — это уже Боярский переулок, 2. Невдалеке течёт Мясницкая, после убийства Кирова переименованная в улицу Кирова, а на продолжении Боярского, мимо Красных Ворот грохочет Садовое кольцо, Давно уже в нашем городе нет ни тех садов, ни ворот. Зато появилась новооткрытая станция метро.

9

В комнатах были высокие потолки, широкие подоконники. Взобравшись с ногами на подоконник, я видел многое. Сквер напротив наших окон, рядом с особняком чехословацкого посольства, исчез, дощатый забор отгородил новостройку. Я знал грамоту с четырёх лет и читал надпись крупными буквами: XVI ОКТЯБРЬ. Это было строительство метрополитена — будущая станция Красные Ворота глубиной в тридцать пять, если не ошибаюсь, метров. Однажды я увидел, как лестница с рабочим, прислонённая к корпусу шахты, поехала, но, к счастью, остановилась, зацепившись за что-то. Видел, несколь-

ко лет спустя, на углу противоположного здания намокший от дождя плакат: Клим Ворошило в сером шлеме времён Гражданской войны, с винтовкой, на которую насажен ножевой штык, и нарком Ежов в фуражке с красной звездочкой и в ежовых рукавицах.

10

Флобер называет себя в одном письме вдовцом своей юности (*veuf de ma jeunesse*), а я бы мог сказать, оказавшись перед домом в Большом Козловском, что чувствую себя сиротой своего детства. Все эти места то и дело встречаются в моих сочинениях, не говоря уже о доме — он стал Валгаллой моей писательской мифологии. В его недрах, в перенаселённых коммунальных квартирах, на этажах и лестницах, во дворе и в переулке происходит действие в моих романах, повестях и рассказах. Во двор заходят бродячие музыканты и прорицатели, хулиганье приводит одноногого пса, собиратель съедобных отходов, живое свидетельство растущего благосостояния — иначе не было бы отходов — роется в мусорном ящике, здесь демонстрирует свою отвагу перед девочкой-одногодкой, куврякаясь на перекладине, пожарной лестницы, счастливый соперник повествователя в романе «Взгляни на иероглиф», из ворот выбегает навстречу сновидцу в рассказе «Пардес» другая ровесница, на ступеньках чёрной лестницы ведёт с автором уклончивый разговор девочка татарка, детская любовь; дом бытийствует в дальней вечности воспоминаний вместе с толпой обитателей — людей и животных, которых он приютил.

11

Моя переводчица Аннелоре Ничке истолковала дом в романе «Нагльфар в океане времён» как трехъярусную, наподобие средневековой, модель мира. Высоко под небом, на чердаке, прячется 13-летняя дочь убитого в Тридцать седьмом и, следовательно, никогда не существовавшего отца. В подвале, как в преисподней, обитает её еврейский дед-каббалист, между верхом и низом — этажи, там уютится в затхлых полутёмных квартирах, карабкается по грязным лестницам человечество жильцов.

12

Дом подобен — таково, по-видимому, толкование автора — Нагльфару, кораблю-призраку из Младшей Эдды, построенному из

ногтей мертвецов. Однажды он сорвётся с якоря, и наступит конец света. Это близящийся конец тридцатых годов, мёртвое время — промежуток между Большим террором и началом великой войны. Население дома затаилось в суеверном предчувствии новых событий, царствует мёртвая тишина, провал истории. Окончательно обесценилась революционная романтика, выцвели пурпурные, цвета жертвенной крови знамёна, износились идеалы, светлое будущее не состоялось. И только девочка-хулиганка (у которой был прототип), изнурённая физически и морально начинающимся созреванием, садистически-жестокая, наглая и отважная, всё ещё не умерший дух революции, возмущает тишину и хилый порядок, навстречу неосознанному ожиданию, когда грянет гром, развеется духота и всколыхнётся безжизненная жизнь — грядёт конец света, исландский Рагнарёк.

13

Труп лежит на асфальтированном дворе. Неизвестно, отчего сверзился с высоты Анатолий Бахтарев, пассажир корабля мертвецов, люмпен-интеллигент и крестьянский сын, неприкаянный красавец-пустоцвет, каких так часто встречаем мы на Руси: то ли он выпал из чердачного окна, поскользнувшись на покато́й крыше, то ли покончил с собой, не сумев овладеть отдавшейся ему влюблённой девочкой, то ли она сама столкнула его в пропасть. Сын страны и эпохи, воплощение всеобщего, бессилия и неустройства

14

А всё-таки до чего забавная история: московская география, некрополь эпохи, улицы и закоулки, по которым, пусть мысленно, я скитаюсь, — всё это — не что иное как моя литература. Блуждая по местам детства, как по музейным залам или аллеям погоста, я как будто листаю свои книги; люди, о которых я вспоминаю, пёстрая компания действующих лиц, не существуют, хоть я и слышу их голоса. Они воскресли в столбцах печатного текста. А вместе с тем я не могу себя разуверить в абсурдном убеждении, что и улицы, и дома, и дворы, и подъезды — были, были, всё это сооружено с целью стать материалом литературы, единственно ради того, чтобы некий сочинитель историй заселил их, наполнил смехом, говором, кашлем стариков, плачем детей, женской перебранкой: не будь меня, ничего бы этого не существовало.

И вот я стою у подъезда в Боярском переулке, — собственно, это не подъезд, а обыкновенный вход, — перед ним ожидает автомобиль с тёмными стёклами и погасшими фарами, на дворе ночь, всё кругом спит, я схожу по ступеням, истоптанным столькими поколениями, двое в фуражках, ночной лейтенант и ещё некто, ведут меня под руки, но на самом деле это не я, а тот, кто говорит о себе: я, персонаж романа «Антивремя», потому что дело происходит не тогда, не в прошедшем, обыденном времени, где царит и распоряжается всем слепой безрассудный случай, а в летящем навстречу божественном антивремени предопределения и смысла.

И квартира № 9, где его, то есть меня, подняли с постели, не та квартира родителей, а другая, хоть и похожая на неё: в коридоре вторая дверь направо, в комнатке, увешанной старорежимными фотографиями, проживает старушка, бывшая дворянка Анна Яковлевна Тарнкаше, которая говорит с мальчиком по-французски, видит сны, не отличимые от яви, от навеки ушедшей действительности, да и живёт, по сути дела, в вечности, — это та самая, вчерашняя вечность, так называется другой роман. Сам же он, я и не я, из другого сочинения, живу за соседней дверью с отцом и похожей на монахиню домработницей Полиной. Ночь, весь дом погружён в небытие, только старый еврейский Бог, опекун и покровитель детства, сидит у входа, как у ворот Рима прокажённый нищий, это Мессия — кого он ждёт? Тебя.

Ночь. Спит уставшая за день Полина в своей комнатёнке за ситцевой занавеской и видит родную деревню, ночную реку и святителя, который дарит ей лёгкую смерть в награду за то, что она перевезла его на другой берег.

Но довольно, удержимся от соблазна дальнейшего нисхождение. Сказано: *vita somnium breve*, жизнь есть краткий сон; счастлив тот, для кого сей сон называется литературой. Но в конце концов смысл и оправдание этих заметок, не правда ли, состояли в том, чтобы откопать в яме прошлого что-нибудь стоящее, — отчего бы не попробовать?

ΔΙΑΛΟΓΟΙ

(Диалоги)

Выброси, Лампих, спесь и надменность;
все это слишком отягчит лодку Харона.

Лукиан, Диалоги мёртвых, 4.

Художник и смерть

Смерть пришла к художнику, он занят своим делом.

«Разве ты меня не замечаешь?»

«А что тебе надо?»

«Разве не понятно — что?»

«Мне некогда».

«Мне тоже».

«Ну, хорошо, — сказал художник, — хочешь, я тебя нарисую?»

«Что это значит?»

«Сделаю твой портрет».

Смерть уселась на возвышении, мастер накинул на неё чёрный плащ, красиво расположил складки, дал в руки череп. Потребуется, сказал он, несколько сеансов.

Через несколько дней она спросила:

«Ну как, готово? Можно взглянуть? Мне нравится».

«А мне — нет. Романтизм, банально».

Начал заново, без плаща и черепа.

Ещё сколько-то дней прошло. Художник качал головой: опять не то. Неуместный модернизм. И тоже порядком надоевший.

«Мастер, — сказала смерть, — всякому терпению приходит конец. Что будем делать?»

«Я понял, — сказал художник, — задача искусства — изображать не внешний вид вещей, а их сущность».

«Ты со мной торгуешься. Это нечестно».

«Твоя сущность, — продолжал он, — вот что важно. Посиди в сторонке. Я напишу тебя такой, какова ты на самом деле».

Он заверил гостью, что на этот раз работа не займёт много времени, уселся перед мольбертом. Но прошёл час, и ещё час.

«Меня ждут другие», — сказала смерть. Она удалилась, а мастер, в глубокой задумчивости, с палитрой и кистью в руках, так и не сдвинулся с места.

Она явилась на другой день.

«Много работы. Террористы взорвали бомбу в универмаге».

«У тебя, я вижу, объявились помощники», — заметил художник.

«То ли ещё будет... Но не стоит отвлекаться. Надеюсь, картина готова?»

«Пожалуй», — сказал художник.

Смерть сама сбросила покрывало с мольберта.

«Что это? Ты вздумал со мной шутить!»

«Ошибаешься, дорогая».

«Но ты ничего не сделал».

«Вглядишься повнимательней».

«Я не слепая!»

«Уверяю тебя, я не ленился. Видишь? — Художник кивнул на кипу листов с набросками. — Я проработал всю ночь, прежде чем взяться за картину...»

«И это результат? Ха-ха. — Смерть показала на холст. — За кого ты меня принимаешь? Тут ничего нет!»

Подумав, она добавила:

«Понимаю. Ты считаешь, что я... Некоторые утверждают, что меня не существует. Ты тоже такого мнения?»

«Я объяснил тебе, — промолвил мастер, — и повторю снова. Искусству внешность неинтересна. Всё это навязло в зубах. Можно срисовать яблоко. Ну и что? Получится ещё одно яблоко, только и всего. Искусство ищет суть».

«В чём же эта суть? Ты до неё докопался?» — насмешливо спросила гостья.

Художник развёл руками.

«Вот, — сказал он, показывая на пустой холст, — сама можешь убедиться. Мне больше делать нечего. Твоя взяла».

Поэт и Вельзевул

Кто-то взошёл по скрипучей лестнице, постучался в мансарду.

«Да», — сказал поэт.

Вкрадчивый голос попросил:

«Пожалуйста, ещё раз».

«Войдите».

«Ещё раз...».

«В чём дело? Я же сказал вам: входите».

«Извини, — сказал дьявол, вступая в комнату. — Нашего брата полагается приглашать трижды».

Поэт заметил, что он где-то об этом читал.

«Могу напомнить. У Гёте».

Поэт спросил: чем он обязан чести?..

«Хочу тебя поблагодарить. — Гость окинул взглядом убогое жильё и уселся на продавленный диван. — Ты напомнил обо мне читателям. Сделал мне отличную рекламу».

«Вы думаете, — поэт усмехнулся, — у меня так уж много читателей?»

«Теперь их станет больше. Я позабочусь об этом. Как никак, и я приобщился к твоей судьбе. К твоему, быть может, бессмертию!»

«Но дьявол и так бессмертен. По крайней мере, так считается».

«Считается, хе-хе. Смерть и бессмертие — земные понятия.

С точки зрения вечности, это ложное противопоставление».

Поэт признался, что ему пришлось издать свои стихи за собственный счёт.

«Последние деньги выложил».

«Сочувствую».

«Но знаете... Я бы не хотел оказаться приспешником Вельзевула».

«Приспешником? Это было бы для меня слишком большой честью! Гёте тоже... как бы это выразиться. Немало потрудился ради моей популярности. Другой вопрос, насколько ему это удалось... Но уж моим союзником его никак не назовёшь».

«Я вижу, вы интересуетесь поэзией».

«Это моя слабость. Скажу по секрету, я и сам пробовал свои силы. Написал эпическую поэму “Сотворение мира”. В двадцати четырёх песнях».

«Вы были свидетелем этого... события?»

«Был, как же».

«Вероятно, у вас там есть и кое-что о Творце?»

«О, да».

«Понравилось ему?»

Дьявол покачал рогатой головой.

«Почему?» — спросил поэт.

«Он сказал, что у меня нет поэтического таланта. Советовал переделать в роман наподобие Вальтер Скотта».

«Мне бы хотелось почитать, — сказал поэт. — Поэма опубликована?»

«Нет, конечно».

«Почему? В конце концов, можно под псевдонимом».

«Не в этом дело, — уныло сказал Сатана. — Я же говорю. Уж очень плохие стихи. Я их сжёг. В адском пламени».

«Скажите, — осторожно спросил поэт, — что вы нашли такого в моих стихах, что они вам так понравились?»

«Что нашёл... Дерзость. Упоение пороком. Демонское начало. Твоя поэзия дышит похвальным презрением к человеческому роду. Как раз то, что нам нужно. Настоящая современная поэзия».

Поэт был польщён, однако услышать комплименты из уст князя тьмы... гм.

«Вот, например, такое стихотворение...». Сатана вскочил с дивана, прочистил горло, стал в позу.

«Нет уж, лучше не надо... прощу вас».

«Слушай, брось ты эти церемонии. Давай на ты! У меня есть предложение».

«Какое?»

«Хочу тебе помочь».

«Ага, так я и знал».

«Ничего ты не знал».

«Ты пообещаешь золотые горы, а взамен потребуешь мою душу. Старая песня».

«И абсолютно фальшивый сюжет! Да знаешь ли ты, что перед моей конторой стоит очередь в полкилометра. Отбоя нет от желающих продаться!»

«Странно, — проговорил поэт. — Я представлял себе чёрта иначе. Рога есть. А где всё остальное?»

Дьявол продекламировал:

«Auch die Kultur, die alle Welt beleckt, hat auf den Teufel sich erstreckt!¹ Но если ты сомневаешься...»

Он распахнул плащ, под ним оказалось голое тело, поросшее густым рыжим волосом. Свой хвост сатана обернул вокруг живота. Особенно бросался в глаза внушительных размеров детородный член.

¹ «Все в мире изменил прогресс.//Как быть? Меняется и бес» («Фауст», I, 2140. Пер. Б. Пастернака).

Поэт брезгливо поморщился. Бес был доволен произведённым впечатлением.

«Что-то я продрог, — сказал он, запахиваясь. — Здесь не топят. Нет ли чего-нибудь выпить?»

«К сожалению, нечем закусить», — сказал поэт и поставил на стол початую бутылку.

«Печально», — отвечивал гость. Чокнулись, выпили.

«Люблю русскую водку. За такое изобретение вам можно многое простить... Но к делу. Мы говорили о душе. Друг мой, не сердись, — подобрешим голосом сказал дьявол. — В сущности, ты и так уже мне продался. Разумею, конечно, твою поэзию... Давно пора было покончить с предрассудком, будто литература должна служить добру»

Снова налили и выпили.

«Послушай. У меня есть связи в издательствах. Твои стихи будут выпущены огромным тиражом, на веленовой бумаге. Что ты на это скажешь?»

Поэт помалкивал.

«Критики со мной в прекрасных отношениях. Они напишут то, что надо... Я создам тебе идеальные условия для работы. Ты будешь жить на вилле. Прислуга, никаких забот. Отличная кухня. Как ты относишься к антрекоту по-гималайски?»

«Положительно, — сказал поэт. — А что это такое?»

«О! Это невозможно описать словами. Это надо попробовать. Или, может быть, ты предпочитаешь флан из телячьих яиц, индейку по-рыцарски? А как насчёт цыплят монморанси в вишнёвом соусе?»

Вельзевул приоткрыл свою хламиду, небрежно помахивал членом туда-сюда.

«Само собой, и девочки... У нас богатый выбор. А насчёт преисподней, советую не верить всем этим сказкам. Уверяю тебя: здесь не лучше, чем там. Ну как, по рукам?»

И, не выходя из комнаты, гость исчез.

Адам и Ева

Адам познал Еву, но распорядитель медлил, и они могли ещё немного времени побыть в эдемском саду. Как это бывает после первого сближения, они стыдились взглянуть друг другу в глаза.

«Ну как ты?» — робко спросил Адам.

Ответа не было.

«Всё как-то быстро», — заметил Адам.

«Ты очень торопился», — сказала Ева.

«Ты на меня сердишься?»

«Почему я должна на тебя сердиться?»

«Это... так неожиданно».

«Ты думаешь?»

«Ну да. Как-то вдруг».

«Вовсе нет, — сказала Ева. — Я этого ждала».

«Ты? ждала?»

«Ну да».

«Но ведь ты сопротивлялась».

«Немножко. Так полагается».

«Значит, — сказал он, подумав, — ты меня прощаешь?»

Они ещё немного полежали на траве.

«Но это было очень приятно. Тебе тоже было приятно?»

«Я же сказала: ты поторопился. Но ничего. Следующий раз получится».

«Постой, — перебил её Адам, — ты хочешь сказать, что ты не успела... как это называется...»

«Кончить», — пролепетала Ева.

Адам нахмурился.

«Откуда ты знаешь такие выражения?»

«Но ведь ты тоже знаешь».

«Я — другое дело. Я мужчина».

Она проговорила снова:

«В следующий раз...»

«Когда это — в следующий раз?» Адам сидел, положив подбородок на колени.

«Не знаю, — сказала Ева, робко взглянув на мужа фиалковыми глазами. — Можно и сейчас».

«Я сейчас не могу».

«Ну что ж, подождём».

«Скажи... а ты не боишься?»

«Чего я должна бояться?»

«Что ты забеременеешь, чёрт возьми!»

«Нет, не боюсь, — сказала Ева. — Тем более что ты там не побывал».

Они умолкли. Возможно, это была первая супружеская размолвка.

«Нет, серьёзно, — сказал Адам, — ты, в самом деле, думаешь, что я...»

«Я бы почувствовала. И к тому же, как тебе объяснить? Я всё ещё девушка».

«Что это значит?»

«Не знаешь, что значит быть девушкой?»

«Нет».

«И я не знаю. Я не могу тебе объяснить, я это просто чувствую. Если говорить откровенно, это меня тяготит».

Она добавила:

«Ты должен меня от этого освободить».

«Ты так думаешь?» — спросил он неуверенно.

«А как же иначе. Ведь я твоя жена. Ты не смущайся. Первый блин комом. Главное — не торопиться».

«Я поражаюсь: откуда ты это всё знаешь?»

«Женщины знают».

«Но ты же первая женщина на земле».

«Собственно говоря, ещё не женщина. Но всё равно. Знание даётся нам от природы. А мужчине надо приобрести опыт».

Адам погрузился в размышления.

«Я думаю, — осторожно напомнила Ева, — уже прошло довольно много времени. Ты любишь меня?»

«Я не знаю, — пролепетал Адам. — Что такое любовь?»

Она не успела ответить, как из-за кустов вышел распорядитель. Он был в картузе, в дворничком фартуке и держал в руках метлу.

«Закрываем», — сказал он.

Они взглянули на него с испугом.

«Шесть часов. Сад закрывается. А ты, — сказал он Еве, — хоть бы надела что-нибудь на себя, бесстыдница...»

«Дедушка, — покраснев, сказала Ева, — ещё немножко...»

«Ещё десять минут, — твёрдо сказал Адам, — и мы уходим».

Иосиф и жена Потифара

Иосиф сидел над государственными актами, когда вошла служанка с приказом явиться к госпоже.

Супруга главы Управления безопасности возлежала на ложе, в дезабилье. Иосиф отвесил поклон.

«Давно хотела познакомиться с тобой поближе».

Он снова поклонился.

«Присядь. Я знаю, что ты занят, и не буду тебя утомлять околичностями. Вот, — она извлекла из ночного столика папирус, — я только что получила. Доклад коллегии халдеев. Сугубо секретно. Je compte sur votre discrétion»¹.

Иосиф наклонил голову.

Египтянка зачитала документ. Согласно расположению светил, у госпожи NN ожидается потомство от Иосифа, сына Иакова, иудейнина, начальника телохранителей, в недалёком будущем — первого советника его небесного величества Фараона.

«Ты молчишь», — заметила госпожа.

«Мадам, — проговорил Иосиф. Разговор продолжался по-французски. — Я весьма польщён. Но...»

Жена Потифара подняла протестующим жестом руку в браслетах и кольцах; он продолжал:

«Я польщён этим предложением, — если я вас правильно понял, — но закон моих предков запрещает вступать в связь с замужней женщиной».

«Мы не в Земле Израиля, — возразила она. — Вдобавок, как ты видишь, такова воля богов».

«Астрология — несовершенная наука. Можно и ошибиться».

Он не посмел добавить, что гороскоп часто составляется применительно к ожиданиям именитого заказчика.

Она усмехнулась.

«Ты очень красив. Согласись, что это тоже немаловажный фактор... Но вернёмся к твоему замечанию о законе. Ты давно у нас и, может быть, кое-что забыл. Я могу тебе напомнить. Ваш закон предусматривает, среди прочих видов сближения мужчины и женщины, сакральное соитие. При этом, как правило, секс по заданию небес совершается по почину женщины... Кстати, — она мельком оглядела себя, — я ведь тоже, как видишь, недурна...»

«Красота моей госпожи не имеет себе равных во всём Среднем Царстве», — сказал Иосиф.

«Ты опытный царедворец. Но я готова принять твой комплимент всерьёз. Хочу добавить к сказанному... Ты сослался на то, что я замужем. Я не стану говорить о моих чувствах к мужу, которого я глубоко почитаю. Не говоря уже о том, что он немолод... Замечу только, что и наш, и ваш закон различают брак земной и небесный. Один совершается по земным, практическим со-

¹ Рассчитываю на вашу скромность (фр.).

ображениям. В данном случае, государственным. Другой... Не надо их смешивать. Пожалуй, мы слишком скованы пуританскими представлениями о сексе».

Помолчали.

«У меня был доверительный разговор с его величеством. Его величество дал понять, что он не возражает. Итак?»

Иосиф безмолвствовал.

«Ты прав, — сказала она, — не будем тратить слов. Я составила расписание. Ты приходишь ко мне каждую третью ночь. Муж, как ты знаешь, в это время на работе. Мои рабыни немые, как рыбы в Ниле».

«Хорошо, — сказал Иосиф, — я подумаю».

Рабби Лёв и Голем

Огромный глиняный Голем стоял посреди двора, расставив ноги, развесив ручищи, а маленький реб Лёв Циммерман наблюдал за ним с порога.

«Попробуй ходить», — сказал он.

Великан сделал несколько шагов.

«Прекрасно. Теперь...»

Голем выполнил ещё несколько упражнений.

«Остаётся выучить тебя говорить, — сказал реб Лёв. — Повторяй за мной: я...»

«Йа-а».

«Я Голем», — сказал реб Лёв.

Голем повторил.

«Я родился семнадцатого ава 5330 года».

«Когда это?» — спросил Голем.

«Я уже сказал: семнадцатого ава. У христиан сейчас 1570 год, июль. Но ты не христианин».

«А кто я?»

«Пока что ты Голем».

«Я — Голем», — сказал Голем.

«Правильно», — резюмировал рабби.

Начал накрапывать дождь.

«Это плохо, — сказал реб Лёв. — Становись под крышу».

Глиняный человек возразил:

«Я твёрд, как камень».

«Да, но я боюсь, что ты размокнешь. Кому сказано? Стань под крышу».

Так прошёл первый день.

Назавтра человек из глины успешно повторил вчерашний урок и выучил наизусть первую фразу Книги Берейшит: «В начале Элохим сотворили небо и землю».

Учитель подумывал о том, чтобы подвергнуть Голема обжигу и тем обезопасить его от превратностей богемского климата. Но глиняный человек мог потерять способность к дальнейшему обучению. К тому же в Праге не нашлось бы печей такого размера. Для Голема сшили дворничий фартук, он передвигался по двору, усердно размахивая метлой. В перерывах между работой Голем повторял за ребе фразы из Книги Берейшит.

Рабби Лёв был доволен.

«Не потеряй свиток, который я вложил тебе в рот», — сказал он.

«А что будет?»

«Будет очень плохо».

«Для кого?»

«Для тебя, дуралей!»

«Я бы попросил... — сказал Голем обиженно, — меня не обзывать».

«Хорошо, не буду, — согласился рабби. — Но предупреждаю тебя: ты должен меня слушаться. В твоих же собственных интересах».

«А ты — меня», — сказал глиняный человек. И прошло ещё сколько-то времени.

Рабби Лёв сидел, как всегда, за книгами, когда раздался треск. Это скрипели и трещали ступеньки крыльца. Что-то упало. Голем протиснулся в комнату.

«Есть разговор», — сказал он.

«Метлу надо оставлять на улице, — заметил рабби. — В чём дело?»

«Есть разговор. В твоей книге слишком много противоречий».

Реб Лёв пожал плечами.

«Может быть. Но о Торе так не говорят».

«И вообще, — продолжал Голем, — она мне не нравится».

Учитель поинтересовался: почему?

«Долго объяснять. А вот что мне нравится, так это твоя комната».

С тех пор Голем жил в доме, а рабби убирал двор и ночевал в сарае.

Вместе с рабби глиняный человек гулял по городу, возбуждая всеобщее любопытство. На нём был кафтан, панталоны до колен, белые чулки и туфли с пряжками. На голове высокая чёрная шляпа.

Оба остановились на базарной площади, вокруг столпился народ.

Голем объяснял людям, что реб Лёв — это его создание. Кто смеялся, а кто и поверил.

«Не надо так много разговаривать, — сказал реб Лёв, когда они вернулись домой, — а то ещё выронишь изо рта свиток».

Мало-помалу распространился слух, что рабби Лёв Циммерман лишь выдаёт себя за человека, а на самом деле — говорящая глиняная кукла.

В конце концов он был разоблачён и с бранью изгнан из синагоги. Мальчишки швыряли в него камнями. Голем строго наказал ему никуда не отлучаться. Рабби жил в сарае, вставал на рассвете, колот дрова, носил воду, а Голем сидел в его комнате и делал вид, что изучает Тору.

«Нет, — сказал он однажды, — надо всё-таки открыть глаза людям».

Держа святую книгу под мышкой, Голем появился на базарной площади.

«Евреи, — сказал он, — вас бесстыдно обманывают. Просто-таки водят за нос. Вот, — он раскрыл Тору, — тут рассказано о том, как Бог создал из ничего небо и землю, и земных тварей, и человека, и всё это за каких-то семь дней. Этого не может быть! А вы слушаете и всему верите. Всем этим сказкам... Таки плюньте, наконец, на них. Как я!»

С этими словами он швырнул Тору на землю, с громом прочистил носоглотку и плюнул на Книгу книг.

Крошечный свиток вылетел у Голема изо рта, и тут что-то случилось.

Поражённые зрители молча смотрели на книгу в толстом переплёте из телячьей кожи с серебряными застёжками и кучу сырой глины, которая расплзлась по земле.

МЁРТВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

for little

Я чувствую, как нечто переплётся через меня.
Я чувствую, что меня делает история.

Ю. Тынянов, цит. у Лидии Гинзбург

Собственно, автор этих заметок не вправе называть тридцатые годы мёртвыми. Для меня они — счастливое (более или менее) время. В 32-м родители переехали из Ленинграда; мне было четыре года. С тех пор началось московское детство в бывшем доходном, построенном на рубеже века доме № 3/2 по Большому Козловскому переулку, на углу Боярского и в соседних улочках и переулках — Машковом, Фурманном, Большом и Малом Харитоньевском, на Чистых прудах, на Мясницкой, переименованной в улицу Кирова, у Красных ворот. Никаких ворот уже не существовало, не осталось и деревьев на Садовом кольце.

Что это было за время? Бывают страны, где история проваливается в яму, истощив свои движущие силы и творческие ресурсы, — такова наша страна. Таков был итог предыдущего, второго десятилетия. Если можно говорить (вслед за Лидией Гинзбург, Кириллом Кобриним и другими) о людях 20-х годов как о поколении, осознававшем свою особую историческую роль, то почему бы не обособить, не выделить пришедшее им на смену, а лучше сказать, выкарабкавшееся из расщелины поколение 30-х? Ему досталось наследство, чьё эпохальное значение дошло, хоть и с большим опозданием, до сознания наших отцов. Между тем именно они, люди второго десятилетия, стали свидетелями поистине мифологического конца времён — победы карлика в кровавой борьбе за власть с конкурентами и окончательного прощания с революцией. О том, что триумф и воцарение карлика означает наступление новой эпохи, о том, что громогласно объявленная цель и задача со-

творения будущего человека будет успешно решена и на свет явится новый Адам — советский человек, люди 20-х не догадывались. Вместе с побеждёнными их ожидали подвалы и крематории тайной полиции — государства в государстве.

Разумеется, мои сверстники, игравшие в классики, в колдунчики, в двенадцать палочек, бегавшие и прыгавшие в тесном каменном дворе нашего дома между пожарными лестницами и верёвками с мокрыми простынями, сорочками, кальсонами на деревянных прищепках, — разумеется, эти мальчики и девочки не подозревали, что когда-нибудь они станут душеприказчиками своих отцов и дедов, — самосознание третьего послереволюционного поколения пробудилось куда позже. Чего стоил детский опыт? Да мы и не были поколением в том смысле, в каком некогда употреблялось это слово. Понадобился вулканический взрыв, нужна была катастрофа войны, обесмыслившая все слова. Поколение, провалившееся в небытие, — вот кем мы были.

Я не могу припомнить, когда, на каком этапе работы мне явился образ, заимствованный из древнеисландской Младшей Эдды, — центральная метафора моего романа о финале истории — «Нагльфар в океане времён».

«Внимайте мне, все священные роды, великие с малыми, Хеймдала дети! Один, ты хочешь, чтоб я рассказала о прошлом всех сущих, о древнем, что помню...». Так начинается прорицательница Вёльва свою песнь о минувших временах в Младшей Эдде.

О том, что близится Рагнарёк, гибель богов и конец мира, повествует Старшая Эдда

«...Тогда спросил Ганглери: что рассказывают о Рагнарёке? Я до сих пор о нём ничего не слышал. Отвечал Хох: повествуют о нём великое и разное. И прежде всего, что наступит зима, завоют ветры со всех сторон, ударит мороз, и посыплется снег, и не будет солнечного света. Придут три зимы, а лета между ними не будет.

Затем случится нечто совсем великое, волк пожрет солнце. Другой волк похитит месяц. И придет третий волк, именем Фенрир. И змей Мидгард в гнев сожмется в кольца, и море ринется на землю».

«Тогда сорвется с якоря корабль Нагльфар, построенный из ногтей мертвецов. Оттого надо следить за тем, чтобы кто-нибудь не умер с неостриженными ногтями; ибо каждый такой прибавляет

материал, из которого будет выстроен Нагльфар. Боги и люди хотят, чтоб он не был готов как можно дольше. Но великие волны залили землю, и плывет в даль морей Нагльфар».

— Нагльфар, корабль-призрак из ногтей мертвецов, — это наш дом. Однажды он сорвётся с якоря, и наступит конец света. Это близящийся конец тридцатых годов, мёртвое время — промежуток между Большим террором и началом великой войны. Жители дома затаились в тесноте своих коммунальных квартир, в вечном страхе и суеверном предчувствии новых событий, царствует мёртвая тишина, провал истории. Окончательно обесценилась революционная романтика, выцвели пурпурные, цвета жертвенной крови, знамёна, износились идеалы, светлое будущее не состоялось. И только девочка-хулиганка (у которой был прототип), изнурённая физически и морально начинающимся созреванием, садистически-жестокая, наглая и отважная, — всё ещё не умерший дух революции — возмущает тишину и хилый порядок, навстречу неосознанному ожиданию, когда грянет гром, развеется духота и всколыхнётся безжизненная жизнь — грядёт конец света, исландский Рагнарёк. Дальнейшее толкование, вся система символов, на которой построено это произведение, — остаётся открытой.

НОЧЬ РИМА

Оратор римский говорил
Средь бурь гражданских и тревоги:
«Я поздно встал — и на дороге
Застигнут ночью Рима был!»
Так! но, прощаясь с римской славой,
С капиголийской высоты,
Во всем величье видел ты
Закат звезды ее кровавый!..
Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые —
Его призвали Всеблагие,
Как собеседника на пир;
Он их высоких зрелищ зритель...

Тютчев

Плох тот поэт, который не помышляет о том, что он творит на века, для веков.

Не могу вспомнить, где и у кого я вычитал эти слова. Кажется, я могу поздравить себя с тем, что свободен от потусторонних забот, ведь я не поэт. И, однако, на краю жизни, когда уже нечего ждать и не на что надеяться, нет-нет, да и просыпается предательская мысль о «веках». Я не успел уйти вовремя; в России нужно умереть, чтобы о тебе вспомнили. Вспомнят ли обо мне? И найдут ли те, последние, что-либо интересное для себя в написанном мною, предпоследним? Традиция, непререкаемость которой сомнительна, обязывает писателя запечатлеть свою эпоху. Могу ли я рассчитывать на сочувственное внимание будущих читателей к тому, что я успел рассказать о моём времени? Думать так значило бы верить в будущее. Я же, в свою очередь, нахожу, что безумная круговерть истории научила наше поколение не доверять будущему.

Блажен, кто посетил... Да, я могу сказать, что успел повидать сей мир в его минуты роковые. Считать ли себя счастливым? Отчего бы и нет? Судьба пощадила меня. Война обошла стороной. Начавшись, когда я был подростком, она окончилась за несколько

месяцев до того, как я достиг тогдашнего призывного возраста — семнадцати лет. Участь погибшего восточноевропейского еврейства не постигла меня, я избежал немецкой оккупации и газовой камеры. Не окошел в советском лагере. Был изгнан, лучше сказать — сподобился быть изгнанным из отечества, и увез сына.

Он их высоких зрелищ зритель... Всё или почти всё земное существование человека, который говорит о себе: «я», протекло в промежутке между двумя глобальными войнами — недолгом промежутке, который в перспективе столетий предстанет перед историками как эпоха одной непрерывной войны, подобно тому, как мы говорим о Тридцатилетней войне, длившейся всё же с перерывами. В конце концов, судьбе было угодно сделать меня современником главного события эпохи — крушения двух тоталитарных монстров, национал-социалистической Германии и коммунистического Советского Союза. Таковы были острые блюда, которыми, смеясь, сервировали свой пиршественный стол олимпийцы.

Закат звезды её кровавый. Мне досталось его пережить. Моя книга «После нас потоп» была предварена эпитафией из поздне-римского поэта V века Рутилия Намациана, который прощался с Вечным городом, разграбленным варварами: «Целую твои ворота, обливаюсь слезами...».

Я позволил себе сослаться сейчас на этот роман-панихиду, написанный под впечатлением от начавшегося распада Советского Союза, последней в средиземноморском регионе империи в том традиционном, классическом понимании термина «империя», какое принято было применять к Риму и Византии, и тут параллель с нашей страной, 1000-летней Российской империей, напрашивалась само собой. Разумеется, я отдавал себе отчёт в условности таких сопоставлений. Строки Тютчева, однако, удивительным образом передавали моё унастроение. И даже отчасти стихи давно забытого Намациана. Наконец, раз уж зашла речь об «эпохе», мои лагерные повести, «Запах звёзд» и другие, посвящены историческому достижению нашей страны — цивилизации тотального подневольного труда.

Так что и обо мне как о писателе придётся сказать: от своего времени не ускользнёшь. Но я не люблю своё время, никогда его не любил, чтобы не сказать — всегда чурался и ненавидел, и, должно быть, уже поэтому едва ли могу притязать на интерес и внимание потомков.

Сентябрь 2012

БЕГЛЕЦ И ГАМАЮН

Загадочная птица Гамаюн гнездится на неисследованных скалистых островах Восточно-Сибирского моря. Маршрут её сезонных перелётов неизвестен, В наших краях Гамаюн появляется один раз в сто лет. Утверждают, что он приносит несчастье. Высказывалось мнение, что птица Гамаюн не существует.

I

Это — повесть о путешествии, о пассажире-призраке, повесть без начала и конца. Многое в ней остаётся сомнительным, кое-что покажется невероятным, но позволим себе возразить, что правда подчас и даже нередко оказывается малоправдоподобной.

Это повесть о бегстве — вот единственное, что можно сказать, не боясь ошибиться. О великой и неистребимой мечте *уйти с концами*. Выражение очевидным образом заимствовано из морского обихода. Но государство наше всё же континентальное. Бежать — куда? Из страны вглубь страны, из гнусного времени в другое время. Из неволи — на волю! Рвануть, драпануть, скрыться от всевидящих глаз, ускользнуть от погони, от автоматной очереди стрелка, от несущихся по пятам собак. Укрыться от Всесоюзного Розыска там, где никто не опознает. Так может мечтать жук на булавке — сорваться и уползти.

Это мечта о просторе. (Ведь слово «воля» имеет и такое значение.) Заметим, что удивительная черта нашего необозримо широкого отечества та, что в нём было очень тесно. Хотя в среднем на каждого подданного приходится столько земли, что её, как пел государственный поэт, глазом не обшаришь, на самом деле, что называется, плюнуть негде. Всё занято, всё обижено, везде полно народу, и куда ни сунешься, ты всюду лишний. Квартира перенаселена, в магазинах не протолкнёшься, в автобус не втиснешься, в трамвае, слава Богу, если нашлось местечко для ноги на подножке. Поезда

берут штурмом, в отхожих местах сидят орлами на помосте зад к заду, в деревне на протоптанной дорожке не разойдёшься со встречным, не разъедешься на просёлке, и так везде, до последнего издыхания, до квадрата земли на кладбище, куда пробираются бочком между крестами и железными оградками, похожими на спинки старых кроватей; чего доброго, и в могиле не хватит места растянуться, и будешь сидеть на корточках в ожидании Страшного суда. А кругом, чуть подальше отъедешь — безлюдные просторы, бескрайние невозделанные поля.

Такова была наша страна, шестая часть обитаемой суши. Пассажир ехал в битком набитом вагоне. Эшелон, растянувшийся на полкилометра, весь состоял из таких вагонов: каждый вагон внутри поделён на клетки, наподобие клеток в зоопарке, дверца на задвижке с висячим замком; за решёткой, на полу и на помостах, в три яруса сплошной массой сидят и лежат, ворочаются, переругиваются, колышутся под мерный стук колёс; в конце вагона, в купе перед железной печуркой коротают долгие дни и ночи обездоленный караул. Дважды в сутки по узкому проходу вдоль клеток, светя фонариком, движутся тени, солдаты протягивают между прутьями решётки кружку с водой, раздают солёную рыбу, выводят на оправку в тесный вагонный сортир без двери. Поезд шёл уже много суток подряд и лишь изредка останавливался пополнить запас угля и воды.

Их пересчитывали. Никого не интересовало, что это были за люди. Главное было довести ровно столько, сколько приняли. Человек в серо-зелёном кургузом бушлате с тряпицами погон, в ушанке со звёздочкой на козырьке рыбьего меха, останавливался перед каждым отсеком, будил спящих узким скользящим лучом, махал пальцем, шевелил губами. Люди поднимали головы, щурились, ворочались, вновь погружаясь в темень, в тяжёлую дрему; но затем, несколько времени погодя, процедура повторялась, опять мелькал фонарик, надзиратель вглядывался в живую массу, махал пальцем, «сто шестьдесят один... сто шестьдесят два...». И опять что-то не ладилось, не сходилось, и пришлось снова считать, на этот раз втроём, один из них нёс короб с формулярами, громким шопотом называл фамилию, хриплый голос откликался из тьмы, у иных было по две, по три фамилии: «он же... он же...», но на одну кликуху никто не отзывался. В некоторой растерянности шествие удалилось, а немного времени погодя по вагонам прошагало высокое лицо — начальник эшелона.

Наконец стальные часы замедлили свой стук, взвизгнули тормоза, гром столкнувшихся буферов прокатился вдоль состава. Трое в зеленых бушлатах соскочили на песчаную насыпь. Далеко впереди отцепленный паровоз отдыхал у водокачки под струёй воды, лившейся в котёл. Это был «Феликс Дзержинский», по-свойски называемый Федя, большой восьмиколёсный локомотив ходивший по магистралям на нашей памяти ещё не так давно, с невысокой трубой, лобовой фарой-прожектором и красной звездой на брюхе. Был второй час ночи. Кругом ни души, ни звука, лишь где-то далеко ухает выпь.

Обошли тускло освещённое, приземистое здание станции, заглянули в пустой и холодный зал ожидания, и чудо! — нашлось то, что искали. На скамье лежал одинокий путник. Он что-то пролепетал, когда его подхватили за ноги и под мышки и понесли к вагону. На свежем воздухе спящий вроде бы ожил, запел песню, ему заткнули рот. Молча проволокли по проходу, отомкнули и отодвинули решётчатую дверь, впихнули внутрь. Пленник ничего не слышал, он вновь погрузился в забвение. Что его ожидало? Стукнулись буфера — Федя прицепился к головному вагону, разводил пары, пронзительный свисток донёсся издалека. Несколько минут спустя паровоз уже мчался, вращая колёсные передачи, посылая слепящий луч вперёд; послушно громыхали вагоны, унося своё собственное время, потонул во мгле глухой полустанок. Новичку присвоили формуляр пропавшего пассажира, и — будь что будет. Доедем, говорили они, сколько приняли, столько сдадим, а там пуцай разбираются.

II

На рассвете нечаянный пленник, обмочившись, проснулся от холода; протрезвление было подобно переселению из одного сна в другой. Он силился понять, что произошло, и ничего не мог вспомнить. Всё так же постукивали колёса, колыхались тела заключённых. Конвоиры несли по проходу корыто с дорожным провиантом. Пленник жевал рыбу, никто не внимал его сбивчивому рассказу. — Между тем тот, исчезнувший, чьё место теперь было надёжно и необратимо занято, пробирался в заснеженной чаще и не имел представления, где, в какой части света он очутился. Мечта гнала его вперёд.

Дивный сон, ветер воли! В обширном тюремно-лагерном фольклоре, насколько нам известно, не существует преданий о бегстве из столыпинского вагона; и всякий, кто путешествовал в эшелонах, идущих на север, восток и юг, кого везли за тысячу вёрст в Заполярье, в тайгу, к великим рекам, в азиатские степи и солончаки, всякий подтвердит: уйти невозможно. Но на то и чудо, чтобы в него поверить.

Как же всё-таки это произошло? Свидетелей нет, а сам рванувший на волю превратился в мифическую личность — попробуй его найти. Считайте, что умер. И можно лишь, призвав на помощь воображение, попытаться угадать, как, каким образом на повороте полотна, где поезд слегка замедлил ход, пассажир, не замеченный, в полутьме, прокравшись мимо отсека со спящим конвоем, рванул к себе тяжёлую дверь и оказался между вагонами. Свирепый ветер свободы чуть не сбросил его в несущийся под ногами провал. Он стоял на шаткой переходной площадке, в свисте и грохоте, — тут бы перекреститься, призвать на помощь всех святых, но святых не существовало. Беглец перелез через качающийся поручень, уцепился за что-то, поставил, рискуя сорваться, ногу на буферный цилиндр, вобрал в себя воздух и прыгнул, едва не сбитый углом вагона, и покатился, словно в могилу, с невысокой насыпи вниз, в девственные снега.

Мудрено ответить, где это было: одно дело география, а другое дикий мир, — вещи столь же несхожие, как история и реальная жизнь. Не то в лесах между Сухоной и Костромой, в краю папоротников и брусники, много более обширном, чем кажется глядя на карту; не то за Вычегдой, если вести пальцем от Шексны к Белоозеру, в неисследимую глушь, где некогда староверы скрывались от дьяволовых слуг, где обитали праведники в пустынных обителях, и, может быть, проживают поныне, — туда будто бы и бежал пассажир. Иные же утверждают, что ещё дальше, к верховьям Северной Сосьвы, в остяцкую тайгу. Поди проверь... Но не в географии дело. А вся суть в том, что человек, погрузившись в эти дебри, умирает, вместо него рождается другой, похожий и непохожий, и тут, должно быть, кроется разгадка того удивительного факта, что беглеца не сумели найти.

Путник был голоден и дрожал от холода, и обливался потом. Он хватал губами пригоршни снега, тянуло лечь, но он знал, что не поднимется. Остановившись передохнуть, не сможет сделать ни

шагу дальше. Он уже не помнил себя, потерял счёт времени, шёл и шёл, и ему представлялось, что вместо него бредёт, проваливаясь в сугробы, кто-то другой. Как вдруг что-то произошло, лес расступился. Короткий лай, похожий на кашель, перешёл в повизгиванье. Навстречу по протоптанной тропке бежала собака. Беглец сделал несколько шагов и опустился в снег.

III

Очнулся он через две недели. Он лежал полуголый на лавке; хозяин, седоватый, бородатый, с длинной нечесаной гривой, растирал ему грудь блестящими от сала руками. Пассажиру казалось, что ничего этого нет, он всё ещё брёл по лесу. Но и это было обманом, на самом деле он трясся в гремучем вагоне, сжатый с обеих сторон бессильными телами. Он обвёл совиным взором избу, низкие, с наледью окошки, веки его снова опустились. Ещё сколько-то дней прошло, старик по-прежнему сидел на табурете, руки на коленях, корявыми ладонями кверху. Старик был в холщёвых портах и длинной рубахе. Кобель, встретивший пассажира, лежал у ног хозяина. Наконец, старик сказал:

«Ну как, оклемался?»

Гость был так слаб, что не имел силы пожать плечами.

«Ты откель, паря?»

Ответа не было — да и какой мог быть ответ. Губы лежащего зашевелились, он спросил: «А ты?»

«Что я?»

«А ты кто?»

«Кто я есть, — сказал хозяин. — Ты разве не видишь?»

«Нет», — сказал пассажир. Он приподнял голову, глаза его блуждали.

«Меня ищут», — сказал он.

Старик словно не слышал.

«За мной гонятся».

«Кто это за тобой гонится?»

«Они. Идут».

«Ну и пуцай идут».

«Сюда идут. Спрячь меня. Спрячь куда-нибудь».

Старик скосил бровь на пса:

«Иоанн! Поди погляди».

Иоанн повернул морду к порогу.

«Крадутся», — прошептал пассажир.

Пёс не двинулся

«Нет там никого, — сказал хозяин. — Он хоть и старый, а нюх не потерял. Ты не бойсь. Никто по твою душу не придёт».

Пассажир спросил:

«Это у него такое имя?»

«Такое имя. Иоанн Четвёртый».

Помолчав, он снова спросил: почему четвёртый?

«Потому что был до него Третий».

«Но ведь он был... кто он был?..» Пассажир брёл по снегу, не давая себе роздыху, потому что знал, что не поднимется; изо всех сил ворочал языком, боясь, что вовсе не сможет говорить.

«Чахлый был пёс, долго не прожил», — сказал хозяин, и вновь беглец погрузился в небытие. И прошёл ещё один день, и прошла ночь. Мир вокруг гостя постепенно восстановился, как если бы творец, в которого он не верил, сызнова отделил тьму от света и твердь от воды. В окнах стоял белый день. Пахло душистой травой от пучков, висевших под щелястым стропилом. Половину избы занимала печь. Старик, босой, в белой посконной рубахе, стоял на коленях в красном углу, перед иконами в полотенцах, с огоньками в висячих плошках.

Старик держал в руках глиняную посудину. Открывая рот, приказал он, дунул на круглую деревянную ложку и поднёс к губам гостя. Пассажир обжёгся и поперхнулся. Пассажир смотрел на старца неподвижными округлившимися глазами и покорно глотал суп. Несколько дней спустя, в тулупе и заячьем малахае, в огромных разношенных валенках, он сидел на завалинке, щурился от яркого света; вокруг капало, сосульки сверкали на солнце — была ли это оттепель или уже весна? Малорослый пёс Иоанн IV сидел рядом на тощем заду, моргал рыжими ресницами, что-то соображал.

«Вот так», — вслух подытожил беглец.

IV

Зверю нужно было привыкнуть к нездешнему произношению гостя, а пассажиру — к выговору хозяина. Но слова не только звучали по-разному, но и значили не одно и то же. Старик говорил по-русски и не совсем по-русски, он как будто даже знал грамоту, но

опять же какую? Счёт годов вёл от сотворения мира или правления царя Гороха, что то же самое, но своих дней не считал, на вопрос Филиппа: «Сколько тебе годков, отец?» отвечал: «Сколько есть, все мои». И впору было подумать, что время для него ничего не значит. Чему, однако, не следует удивляться, ведь уже сказано, что прежнее время унёс с собой тюремный эшелон.

И всё как-то само собой утряслось, и стала очевидной бесполезность расспросов, как будто главное было и так понятно; понемногу гость перестал быть гостем, колол дрова, топил печку, научился выпекать хлеб на поду. И всё дальше отступало то прежнее время, где были этапы и пересылки, где по-прежнему нёсся вперёд красноезвездный локомотив, влача за собой полукилометровый состав, и качались в клетках стиснутые в неразличимую массу люди без роду и звания, жевали солёную рыбу, просились на opravку. Больше не удивляло, что за тобой не пришли, не обложили хибару и не грохнули в дверь сапогом; всесоюзный розыск, от которого, как считалось, никуда не денешься, не укроешься в самых дальних медвежьих углах государства, не сумел напасть на след по той простой причине, что не было никакого следа.

Вечерами старый отшельник садился за грубо сколоченный стол, перед масляным светильником, нацеплял железные очки, отстёгивал застёжки толстой книги в деревянном переплёте, обтянутом пожухлой кожей, и вперялся в славянские строчки, в затейливые буквицы, — похоже было, что он в самом деле умел читать. Несколькими минутами погодя, застегнув фолиант, он поднимался, — бывало, проснёшься ночью, а он всё ещё стоит на коленях перед тусклыми образами. И так проходили ночи и дни.

Однажды кто-то крупно прошагал под окнами, взошёл на крыльцо. Жильца успокоило равнодушие Иоанна IV. Пёс лишь повёл носом и вновь опустил морду на лапы. Выяснилось, что не слишком жаловал гостя.

При этом, однако, бросалось в глаза странное родство: кроткий зверь походил на вошедшего, как Алёша Карамазов на беспутного брата Митю. Нагнув голову, в избу вступил мужепёс свирепого вида: бородатый, ражий, красивый, в каштановых кудрях, с такими же, как у пса Иоанна, карими миндалевидными глазами. Он был не один. Следом ещё двое, неотличимо похожие друг на друга. Все три брата — старший и близнецы — стали рядом, стянули шапки и размашисто перекрестились, обратив к красному углу обветренные лица.

Мужик поглядел сверху вниз на пса, четвёртого брата, тот от-
вернулся.

«Чего не здороваешься?»

Иоанн молчал, завесился бровями.

«Ишь какой гордый. — И с неожиданной вежливостью обра-
тился к жильцу: — А вы кто такой будете?»

Неужто, подумал пассажир, такая форма обращения дошла до
этих мест.

«Чего спрашиваешь, небось сам знаешь», — старик ответил
вместо Филиппа.

«Откуда ж нам знать».

«Странно вы как-то креститесь», — заметил Филипп.

«А как ещё?»

«По-моему, надо тремя перстами. А вы кулаком».

«Эва, какой умный; вот так и крестимся. Такая наша вера. А ты
кто такой, откель явился?»

Пассажир соображал, что ответить; снова вмешался хозяин:

«Оставь его, Абрам. Он у меня живёт».

Мужик протянул пятерню:

«Авраамий меня зовут. Будем знакомы».

Помолчали; близнецы переминались с ноги на ногу; Авраам
выжидал, поглядывал на незнакомца. Хозяин промолвил:

«Ну что ж, гости дорогие... Филя, носи, что ль. Только вот вы-
пивки, сами знаете, нет. Не держу».

Он добавил:

«Небось сами позаботились».

«Позаботились, как же».

Пассажир внёс большую деревянную плошку с дымящимся
картофелем, явились хлеб, лучок и сальцо. Старик (которого, по
крайней мере, в эти первые минуты трапезы пристойнее будет на-
зывать старцем) прочёл молитву, молча подал пассажиру на-
ливать, тот принял от Авраама бутыль, налил братьям, плеснул се-
бе. Вопросительно взглянул на хозяина.

Старец вознёс очи к потолку.

«Не стану пить от плода виноградного, доколе не приидет цар-
ствие Божие».

Мужепёс возразил:

«Какой тут нá-хер плод. Первач — лучше не бывает».

«А ты не перебивай, — строго сказал хозяин. — Прости им, Господи, не ведают сами, что болтают. Сосуд диавольский — но да будет на сей раз не во зло, а на пользу. Дай-ка сюда...»

Пассажир подал ему пустую чашку, дед сам наполнил её. Пёс сидел у его ног, подняв умильную морду. Старик двинул кустами бровей. Иоанн IV встал на задние лапы, передними оперся на порты хозяина и застыл в молитвенной позе. «Ванюша, милый, душа безгрешная, даруй тебе Господь...» — бормотал старец, свободной рукой смахнул слезу и перекрестил пса. Иоанн вылакал чашу, получил в награду ломтик сала и заковылял к себе в угол. После чего старец взял каравай, разломил на куски, обмакивал в чашку с растопленным маслом и подавал каждому.

«Ядущий хлеб сей как плоть мою будет жить вовек!»

«Поехали», — сказал Авраамий. Глядя на компанию, осенил себя кулачным знаменем и беглец. Дружно, возведя глаза к потолку, опрокинули дедовские чарки в разверстые рты, тяжело вздохнули. Понюхали хлеб, хрустнули луком, катали на ладонях горячие картофелины. Вновь разлили и выпили. И так в молчании продолжалось некоторое время это занятие.

«Сами, что ль, гнали?» — спросил хозяин, поглядывая на быстро опорожняемый сосуд.

«Зачем самим. Из деревни приносят».

Волшебное зелье подействовало на пассажира, давно отвыкшего от питий; неизвестно, сколько месяцев, а может быть, и лет, проторчал он в следственных тюрьмах, прежде чем вызвали на этап. Рассеялась насторожённость, разгладились морщины на душе, ему стало легко, тепло, уютно. С каким-то новым для себя умилением он озирает компанию: старца, спасшего ему жизнь, дремлющую в углу собаку, длиннокудрого, свирепо-красивого Авраама с его присными. Что-то привлекло внимание гостя; взглянув под стол, он увидел огромный, выставившийся из штанов стыд — Авраам задумчиво поглаживал его, как гладят домашнее зверя.

Всё смолкло, пришелец сидел, смежив веки; верить ли? — здесь, в лачуге анахорета, в глухих лесах, в самом сердце нелюбезного отечества совершалось то, чего нельзя было ожидать, да и не могло случиться в миру; здесь было оправдание жизни, брезжил смысл, обреталась истина, простая, хоть и непросто было до неё докопаться.

Что же это была за истина? Но нет, её не передашь словами.

V

«Твоего поля ягода, — старец отнёсся к Аврааму. — Утёк от кого-то».

«Небось, гулял».

«Отчего ж не гулять».

«Небось убил кого?»

«Может, и убил. А, Филя?»

Беглец из Филиппа стал Филей, и всё было хорошо.

«Покайся!»

Нет, каяться он не собирался.

Старинный лагерный обычай не велит расспрашивать — за что, и как, и почему. Схватил срок — и помалкивай, никто тебя и не спросит. Да и не всё ли равно. А вот поведать, как ехал в степь и не доехал, как стоял на буфере и примерялся прыгнуть, очень хотелось гостю. Он и начал было рассказывать, но его не слушали. Авраам выставил другую бутылку. Заговорили о монастыре, где, как можно было понять, компания обосновалась, разделавшись с братией.

Мужепёс усмехнулся в ответ на вопрос Филиппа, куда они делись.

«Монахи, что ль? Ты вон лучше папаню спроси. Он сам оттуда».

«Молчи, злыдень!»

«Кого порешили, кто сам утёк», — объяснил Авраам, наливая себе, гостю и братьям. Пассажиру не терпелось похвастаться самому.

«А вот я вам что расскажу...»

«Ты сперва самовар поставь», — заметил хозяин.

«Рано, отец, — возразил Авраам, — ещё не допили».

Филиппу:

«Валяй».

Поистине чудным было действие питья, разбудившего память. Но почему-то он передумал, вспомнилось другое. Неожиданно для самого себя пассажир объявил, что расскажет одну бль.

Он почувствовал вдохновение. Нет, он не собирался выдавать за собственное изделие балладу, заученную с детства, но они именно так и решили. Никто здесь никаких стихов не слыхал, ни светских, ни духовных. Пассажир оглядел квёлых сотрапезников, прикорнувшего пса, лики святых в углу. Скосил глаза под стол — коварный жилец опал и скрылся. Пассажир прочистил горло.

«Господу Богу помолимся!»

«Уже помолились», — отвечал Авраам.

Исполнитель гордо взглянул на него и продолжал:

«Господу Богу помолимся, древнюю быль возвестим. Мне в Соловках её сказывал инок отец Питирым».

И ещё раз обозрел компанию

«Было двенадцать разбойников, был Кудеяр-атаман. Много разбойники пролили крови честных христиан. Много богатства награбили...»

«Эва! — вскричал Авраам. — Никак про нас?»

Старик:

«Ты помолчи, послушай. — И Филиппу: — Тебе, парень, может, дать балалайку? Али гусли. Только где ж я их возьму».

«Много богатства награбили, жили в дремучем лесу. Вождь Кудеяр из-под Киева вывез девицу-красу».

«Нет, надо выпить, — сказал Авраам. — Ври дальше. Про бабу».

«Днём с полюбовницей тешился, ночью набеги творил. Вдруг!.. — сказитель поднял палец. — Вдруг у великого грешника совесть Господь пробудил! Сон отлетел, опротивели пьянство, убийство, грабёж. Тени убитых являются, целая рать — не сочтешь!».

Короче, стало невмочь. Злодей распустил свою шайку, роздал богатство и удалился от мира.

«Вот, во-от. — Старик угрюмо взглянул на сына. — Мотай на ус!»

Напрасно, продолжал Филипп, преступник отправился в дальний путь ко гробу Господню, отмаливать прегрешения: ничего не помогло.

«Старцем, в одежде монашеской, грешник вернулся домой, жил под навесом старейшего дуба в трущобе лесной. Денно и ночью Всевышнего молит: грехи отпусти! Тело предай истязанию, дай только душу спасти!..».

И было ему видение.

«Чего?»

«Видение», — сурово пояснил хозяин, который, хоть и виршей этих не знал, но догадывался, что будет дальше.

«Да... — проговорил Филипп. — Сжалился Бог и к спасению схимнику путь указал. Старцу в молитвенном бдении некий угодник предстал. Рёк: не без Божьего промысла выбрал ты дуб вековой. Тем же ножом, что разбойничал, срежь его, той же рукой!»

Авраам:

«Это как же это ножом?»

Филя:

«А вот так, понимай как хочешь».

«Будет работа великая, будет награда за труд. Только что рухнет дерево, цепи греха упадут».

Делать нечего, он режет дуб, годы идут, дело почти не подвигается. Шутка ли — дуб в три обхвата, где уж там ножиком срезать. И уже закралось в душу сомнение: взаправду ли ему велено или приснилось? Как вдруг слышит голоса — оказывается, в чащу заехал знатный охотник, известный во всей округе пан Глуховский. Чем известный? Распутством, жестокостью, всякими безобразиями; словом, фрукт почище самого Кудеяра. И стал он насмеяться над старцем: я-де живу в своё удовольствие, ем, пью, баб лобзаю сколько захочу, — а ты тут вкальваешь.

«Жить надо, старче, по-моему: сколько холопов гублю. Мучу, пытаю и вешаю, а поглядел бы, как сплю!»

Пассажиры надменно оглядел компанию. И тут...

«Чудо с отшельником случилось. Бешеный гнев ощутил. Бросился к пану Глуховскому — нож ему в сердце вонзил!»

Братия затаила дыхание. Иоанн проснулся и застучал хвостом. И тогда — кто бы подумал?

«Только что пан окровавленный пал головой на седло, рухнуло древо громадное, эхо весь лес потрясло! Р-рухнуло др-рево, скатилось с инока бремя грехов!»

Филипп умолк, и общее молчание воцарилось.

Наконец, хозяин промолвил:

«Двенадцать, говоришь, их было? Все, стало быть, покались? — Аврааму, снова: — Мотай на ус!»

Авраам утирал тылом ладони слёзы.

«Чего хнычешь?»

«Жалко этого, как его...»

«Разбойника?»

«Пана этого жалко. Мужик что надо».

Стали пить чай.

VI

Выше говорилось, что эта повесть не имеет ни начала, ни конца; в таком утверждении, бесспорно, есть доля истины. Но у каждой реки есть исток, и любая история всё же с чего-то начинается. По-

следуем примеру древнего хронографа, вернёмся к началу начал, когда схлынули воды всемирного потопа и ковчег уцелевших остался на мели — в лучшем смысле этого слова. Ной разделил всю землю между сыновьями: Симу достался восток, Хаму юг, Иафет же, младший, получил во владение страны полуночные. И от тех самых иудеев, от внуков и правнуков Иафета произошёл впоследствии славянский народ.

Но был он тёмный, и князя послали к царю просить, чтобы отрядил к ним наставника: мы-де племя хоть и крещёное, но неучёное, не знаем ни по-еврейски, ни по-гречески, ни по-латыни. О чём написано в святых книгах, не умеем прочесть.

Явились братья болгары Мефодий и Кирилл, придумали азбуку, перевели на славянский язык Апостола, Евангелие, Псалтырь, Октоих. Из Царьграда пришли монахи, и от них пошло священство. Народились свои книжники и наставники, и народишко приободрился. С тех пор стали называться славяне варяжским именем Русь.

Тогда основались первые обители. Опять же своих наименований не хватало, понадобились чужеземные: вот ты, сказал старик-отшельник, вроде бы и грамотный, и вирши сочиняешь, и в городах жил, а не знаешь того, что монастырь есть слово греческое; тебе, парень, — он покачал головой, — ещё многому надо учиться! Слово это великое, и означает иноческое пустынножительство. Рёк святой Афанасий: два суть чина и состояния в жизни, одно есть супружество, а другое — монашество. И всякий, кто вступил на иноческий путь, должен отречься от мира, и от женского пола, и от богатства, и от прежнего имени.

«Как же тебя раньше звали?» — спросил пассажир.

«Как звали... А зачем тебе знать?»

Он усмехнулся:

«Да я уж и сам не помню».

Разговор продолжался, Филипп спросил старца, почему он оставил обитель.

«Хотел есмь один жить в пустыне сей и тако скончаться на месте сём. Слышал небось, — он насутился, — прогнали сукины дети. Родные сыновья прогнали! У лисиц есть норы, и у птиц небесных гнёзда, а Сын Человеческий не имеет, где голову приклонить».

Он добавил:

«Да я бы и сам не захотел больше там оставаться. За грехи покарал Господь нечестивых. Хорошо хоть ноги унёс».

Но продолжим рассказ. Первоначально монастыри строились в городах или неподалёку. Лишь многие годы спустя тайные обители возникли в лесах. И не по замыслу и почину ктиторов, и не по благословению иерархов, не на деньги князей и купцов. А сами монахи, поняв, что в суете и сутолоке людской не спасёшься, уходили в тайгу и безмолвие. Жил пустынник под навесом, рыл землянку либо строил бедную хижину, а тем временем весть о его подвиге разносилась вокруг, собирались верные, рубили лес, расчищали место, на своих плечах носили бревна и своими руками возводили сруб; монастырь был окружён высоким тыном, за тыном поднималась крытая дранкой шатровая церковь. И окормлял души старец-первооснователь, а бывало и так, что оставался на многие годы один, и прилетала, кружила над церковным крестом чёрная зеленоглазая птица жизни и смерти Гамаюн, несла весть о бедах мира. Косматый Див прятался в чаще, и навстречу заплутавшему путнику выходил святитель в куколе и монашеском одеянии.

Был среди первых пустынножителей особенный подвижник — несправедливо будет не упомянуть о нём.

Родился он в богатом селе близ Ростова Великого, от отца, служилого человека ростовских удельных князей, и матери нехудородной, десяти лет отроду стал учиться грамоте, успевал плохо, как ни старался, и сильно огорчал этим наставников и родителей. Однажды потерялась лошадь, отец дал сыну броть, послал искать, и на опушке Радонежского бора, у реки, отроку явился некий черноризец.

Монах обратился к мальчику: «Чего зыскуешь, чадо?»

«Коня ищу», — сказал Варфоломей.

«Найдётся твой конь; а ещё чего?»

«Хочу знать грамоту, да вот никак не получается».

«Не печалься, — был ответ, — с сего дня овладеешь грамотой».

И подарил ему книгу, вот эту самую, пояснил старик, захлопнул деревянную, обтянутую пожухлой кожей крышку переплёта и застегнул медные застёжки.

И ещё кое-что было сказано подростку Варфоломею таинственным посланцем, но навеки осталось тайной; известно только, что он не вернулся к родное село, ушёл в леса, где и погиб, говорят, растерзанный диким зверем. Верить ли сему? Старец Елифанний, напротив, утверждает, что никто его не тронул, а всё дело в том, что юный подвижник взял себе новое, монашеское имя и отсюда вся путаница.

Он устроил себе ложе в таёжной чаще и поставил на жердях крышу. Отвёл место для обители. Однажды к нему явилась, — а потом снова и снова — ведьма под видом красивой полунагой девицы, но он её всякий раз прогонял.

Мало-помалу стали к нему стекаться иноки, он запретил им принимать подаяние, а велел жить плодами своего труда. Будто бы слава преподобного Сергия прогремела настолько, что сам великий князь Дмитрий Иванович с боярами и воеводами прибыл к нему получить благословение перед битвой с татарами. Но вот вопрос, где всё это происходило. В самом ли деле игумен Сергий окончил свои дни там, где ныне за белокаменными стенами блещут главы Троице-Сергиевой лавры? Не подальше ли — прочь от погрязшей в стяжательстве и властолюбии Москвы? Некоторые считают, что Епифаний, если читать внимательно, подразумевал иные места. Не будем спорить с теми, кто лучше нас знает, — но не в тех ли самых краях, где нашёл приют ушедший с концами узник? Оно, пожалуй, будет правдоподобней. Небось лавра, и весь этот блеск, и богатство, и пышные одеяния иереев не больно понравились бы праведнику, и он сказал бы: «Эва до чего дожили».

И покачал бы чёрным куколем.

VII

Пассажир, как мы знаем, не доехал до мест не столь отдалённых, но тому, кто там побывал, обитель в тайге отчасти напомнила бы в уменьшенном виде лесоповальный лагпункт. Ибо время повторяется в зеркалах, и власть, будь она трижды передовая, наследует образ веков. Тот же высокий тын и глухие ворота, только взамен деревянной вышки церковь с бойницей в шатре, крытом дранкой. Та же глухая неизвестность, тишина и молчание об увиденном, та же проволока поверх забора. Гремя цепью, от одной конуры до другой вдоль проволоки бегают обросшие вислой шерстью, как мамонты, псы, останавливаются в раздумье, снова пускаются в путь.

«Ну и нечего лаять, свои», — сказал Кудеяр Авраамий.

Собачий дуэт умолк, звери сидели на косматых задах, недобро поглядывали на гостя. Гуськом, впереди старшой, за ним братья-близнецы и последним, озираясь, Филипп, вошли в ворота. В тесном дворике на верёвках сушилось исподнее, на жердях вверх дном глиняные кувшины. А в сторонке, в углу двора — Господи спаси и

помилуй! — нечто странное и страшное. На колу, криво насаженная и уже посеревшая, с космами длинных волос, в чёрном клобуке с изодранным покрывалом, с усохшим, ощеренным ртом и ввалившимся носом, безглазая, висела мёртвая голова.

«Вороны расклевали, едри их...» — пояснил Авраам.

«Кто же это?»

«Как его там, игумен, что ль. Змей едучий... Прямоком в ад и отчалил».

Гость спросил, отчего же в ад.

«А куды ж ему ещё. Небось, сидит там в котле кипящем, меня вспоминает».

Ты-то сам, подумал пассажир, не рассчитываешь угодить туда же? Взошли внутрь. Тесноватая, с низким закопченным потолком клеть служила трапезной: грубо сколоченный стол, скамьи, два оконца и чёрная печь из булыжного камня. Зато церковь с двумя столпами из толстых брёвен, амвоном и трехъярусным почернелым иконостасом после трапезной показалась светлой и, пожалуй, даже просторной. Мужики сорвали шапки с кудлатых голов, усердно обмахивались кулачищами, приложились к иконам.

«Ну что, братва... Куды Анфиска-то подевалась?»

«За оброком почапали», — отвечал один из братьев-близнецов. В деревню, стало быть, пояснил Авраам.

Да вот и они. Снаружи послышалось движение, собачье повизгиванье; появились две женщины, старая и молодая, обе в длинных юбках из тёмноватой пестряди, в чёрных платках, низко надвинутых до бровей. Не взглянув на мужчин, опустили наземь свою ношу, молча трижды перекрестились древним двоеперстием, низко кланялись. Мешки с данью, которой разбойная братия обложила деревню, были снесены в подклет, бабы занялись своими делами. Таково было первое знакомство пассажира с бывшим скитом и его обитателями. А о том, что происходило дальше, составитель этой повести охотно бы промолчал; однако из песни слова не выкинешь.

VIII

Помнится, в наставлениях игумена Фирса инокам Малоозерской пустыни сказано, что не должно иметь бани в обители, дабы никто из братии, иначе как по нужде, не обнажал своего тела, другим не показывал и сам не обозревал. Ибо плоть — и своя, и чужая,

не говоря уж о женской, — бездонный сосуд греха. Но в разбойничьем логове банный день соблюдался неукоснительно. Позади церкви, почти вплотную к приземистым окошкам братских келий, проход выводил за ограду. Вокруг всё заросло кустами смородины и боярышника, крапивой в рост человека, папоротником по колено, невидная тропка спускалась к озеру. У воды стояла избушка на курьих ножках, с трубой и оконцем. Через толстую скрипучую дверь ввалились в предбанник. Жаркий дух пахнул в лицо, баня была с утра истоплена. Оставили на скамье всё, что было на них.

Мужепёс первым полез на полóк. За ним Филипп и один из братьев. Второй остался внизу, понемногу глаза привыкли к потёмкам, он приблизился к багровевшему жертвеннику, зачерпнул длинным деревянным ковшом из бочки, плеснул кипятком на раскалённые камни и отскочил — струя пара вырвалась, шипя, и всё заволжлось; наверху охнули, изрыгнули радостный мат, распластались, спасаясь от жара, на горячих досках. И тотчас запели, заскрипели дверные скрепы. В облаках пара из предбанника показался свет, толкая забухшую дверь, двинулся широкий белый бабий зад. Анфиса, крупная, крепкая женщина за пятьдесят, в одной руке плошка с салыным огарком, другой прикрываясь берёзовым веником, повернулась, пригнув под притолокой непокрытую голову и полнеющий стан, и шагнула через порог. Следом в парильню вступила та, что была моложе, и тоже в чём мать родила.

«Дай отдышусь маленько», — сказала Анфиса, пристроила огарок в углу на выступ бревна и уселась на корточках. Молодка по имени Устя приняла от неё веник, окунула, отвратив круглый раскрасневшийся лик, в горячую воду, осторожно стряхнула. Обе, стоя на ступеньке перед полком, принялись за работу, старшая, склонившись, мяла, щипала и тискала мужчин, волоча по волосатым телам большие, как сливы, соски, молодая усердно махала веником. Несколько времени погода все шестеро, малиновые от жара и нагие, как первые люди на земле, выбрались из парильни на волю — и бух в озеро.

Мужичьё чинно сидело в предбаннике с холстинами на коленях. Принимали от женщин полную чару, отдувались; всё плыло у пассажира перед глазами.

Стол был накрыт в трапезной, и разбойный игумен, умашённый, умиротворённый, уже воссел с братией, и беглый гость с варварской лирой в руках приготовился в который раз исполнить бал-

ладу о Кудеяре, когда залиvistый лай возвестил о приходе гостей; растворилась дверь, и вошли, стыдясь и закрываясь платочками, лукавые нарумяненные бабёнки в лаптях и красных панёвах, в венцах, медных привесках, разноцветных бусах. И воспламенился пир, и пошёл по кругу пьяный ковш, и начались у них игры, и поцелуи, и лапанье за всё, о чём душа только может мечтать, и, не допив, не доев, повскакали с мест, повалили в церковь, тут же, кто где, совокуплялись, и голый, волосатый, как зверь, атаман, тряся каштановыми кудрями и мудями, плясал вокруг алтаря, бил ручищей в бубен и бубном по ягодицам, и безумные женщины вновь облепили мужиков под огненно-неподвижными взглядами апостолов и святителей. Сказано, создал вас Бог такими, и не имайте стыда. И ещё проповедано: если есть на земле место, куда можно скрыться, забыть гремучий тряский вагон и ржавую вонь, и гром столкнувшихся буферов, и свист, и ветер, и отчаянный прыжок в ничто, по откосу, в девственные снега, если найдётся такой уголок в нашей бесприютной стране, укромное местечко и желанная цель, то лишь здесь, в гуще лесов, в сердцевине бытия, в воронке бабьего лона. Но не зря, ах, не зря птица с глазами из смарагда, махая чёрными крыльями, кружила над маковкой бывшего монастыря, пока, наконец, не уселась, утвердилась цепкими лапами, на кресте, пока не пала ночь и насытившаяся до отвращения, вконец упившаяся и наплевавшая братия не повалилась наземь, где кого настиг сон.

IX

Мы, однако (сказали бы они), не лаптем щи хлебаем, в наших жилах течёт древняя кровь варяжских конунгов, тех, кто пришли в эти земли со своими дружинниками, и соединились с местными женщинами, и размножились в потомстве. Мы не чёрная кость, и как бы ещё не оказалось, что пращуром Авраамия с братьями был не кто иной, как сам король Улаф Святой, сын Харальда Гренландца, пасынок ярла Сигурда Свины, — тот, кто разорил берега Сvei, разгромил войско викинга Соти и разграбил его владения, кто насаждал христианскую веру и прославился многими победами, тот, чей боевой топор держит в лапах коронованный лев Норвегии. Но где было знать об этом Аврааму, его память не простиралась дальше собственного детства; навряд ли о чём-нибудь таком помышлял и старец отец Авраама и близнецов. Всё растворилось в зыбком

студнеобразном времени. А вот кем был расклёванный вороньём игумен, висевший на колу перед своей церковью, об этом смутные вести дошли до нас, но не решаемся им верить. Случалось даже слышать, будто мученик был не кто иной, как преподобный Сергей. Так ли это, доказать невозможно, и лучше эту тему оставить. Да ведь и сам Елифаный Премудрый, составитель жития, замечает: излишество и пространность в рассказе — враг слуха, подобно тому как изобильная пища — враг тела.

А что же беглец, чьё прошлое потонуло, не оставив ему даже прежнего имени? Жизнь его так и текла. По-прежнему он коротал дни между монастырём и хижиной анахорета. И сменились времена года, звёзды совершили свой круг, снег сошёл, запели птицы. Наступило время остепениться, обзавестись своим домом и хозяйством; мысль эта, впрочем, приходила в голову не ему одному: с некоторых пор женские глаза поглядывали на него не без тайного умысла. Чьи? Разумеется, острый взгляд тётки Анфисы, да, пожалуй, ещё один, беглый, исподтишка. Всё происходило, как решили женщины. Ранним утром невзрачная девушка по имени Устя — о ней уже говорилось, — крепостная боярина, чьи люди давно не заглядывали в деревню из страха нарваться на шишей, вышла из дому. Путь неблизкий, и показался бы ещё дольше, если бы здесь дорожили временем. Она шла ровным крестьянским шагом, и лес вокруг играл всеми красками, свистел птичьими голосами, горбатая росомаха подозрительно поглядывала из чащи, пожилой леший улепётывал прочь; с кривой дорожной палкой, с берестяным пестерем за спиной она ступала не спеша, поскрипывая новенькими лаптями, спускалась в овраги, обходила топкие места и, наконец, приблизилась к месту желанной встречи, остановилась, извлекла из пестеря новое ненадёванное платье, насурьмила брови, нарумянила щёки и повязала белый с алой каймою плат. Погляделась в тусклое зеркальце и увидела красавицу.

И двинулась было дальше, тут ей преградил дорогу Филипп со связкой хвороста. Опустив глаза, Устя скинула с плеч свою ношу. Распрямилась, расправила кружевной передник, подтянула концы платка. Пассажир был изумлён, видя, как она изменилась.

Он спросил:

«Ты идёшь из монастыря?»

Она не ответила.

«Тебя Анфиса ждала», — сказал он.

«Знаю, что ждала».

«Что же ты не пошла туда?»

«А нечего мне там делать».

Вёрст за тридцать от обители проходила лесная дорога, по которой проезжали купцы с драгоценной кладью. Накануне Авраам с братьями, вооружившись, отправились на дело.

Много разбойники пролили крови честных христиан...

«А ты что же не с ними?»

Пассажир отвечал, что ему лучше сидеть на месте, не рыпаться.

Он усмехнулся:

«Будет тебе приданое».

«Я от них ничего не хочу», — возразила Устинья, и оба почувствовали, как некий голос подсказывает, что́ надо говорить.

«А ты откуда знаешь, — спросила она, — что я собралась замуж?»

«По тебе видно, как ты приневестилась».

После короткого молчания:

«Тебе нравится?»

Пассажир снова усмехнулся.

«Мой дом заперт, — сказала она. — Знать, пришло время отворять».

«А где же тот, кто к тебе постучится?»

Устя не отвечала.

«Небось кто-нибудь из братьев?»

Она помотала головой.

«Анфиса, чай, за тебя решила».

«Она мне как мать».

«Разве нет у тебя своей матери?»

«Я сирота. Нет у меня ни мамы родной, ни отца».

«Некому, стало быть, благословить?»

После паузы:

«А ты знаешь, кто я такой?»

Ответа не было, да и зачем было отвечать.

Что яблонь между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. Уста его — сладость, и весь он — любезность.

Они прошагали рядом, чужие друг другу, часть пути; это был разговор без слов.

Заклинаю вас, дочери Иерусалимские, если встретите возлюбленного моего, что́ скажете вы ему? Что я изнемогаю от любви.

Я её видел. Я видел её круглые бёдра, и гибкую талию, и маленькие груди с плоскими сосками.

А я — его широкую грудь. И впалый живот, и ключ, которым отмыкают девичество.

Но это больно.

Я не боюсь.

Ты не знаешь, кто я.

Знаю, иначе бы не пришла. Ты ищешь, где спрятаться. Я тебя укрою.

Я сплю, а сердце моё бодрствует, вот голос моего возлюбленного, который стучится: отвори мне, сестра моя, возлюбленная.

Всё гуще, темней и молчаливей становился лес, но затем просветлело, вышли на поляну. Хижина отшельника стояла над ручьём. Филипп постучался в окошко; мелькнуло лицо старца.

«Нельзя ко мне, — сказал он, когда гость переступил порог, и верный пёс, предпоследний рюрикович, был, по-видимому, того же мнения. Девушка стояла в снях. Старик пояснил: женскому полу нельзя.

«Отец, мы ненадолго»

Зверь пролаял положенное. Устя подошла под благословение. Повернулась к иконам, к Тихвинской Богородице. Пассажир обмахнулся кулаком. Старик сидел за столом, глядел сурово.

«Дедушка, — сказала Устинья. — Повенчай нас».

Х

По тайным стёжкам, обходя болота, волчьи и лисьи норы, миновали чащу. Деревня как вымершая — ни дымка над соломенными кровлями, ни пёсего лая. Но в слепых окошках — где за мутно-зелёным стеклом, где за бычьим пузырьём — следили за новобрачными завистливые глаза.

Взошли на крыльцо об одном столбе, это был рубленый, почернелый от времени, всё ещё крепкий дом на каменном подклете. В чистой горнице пол устлан половиками, красный угол обвешан холщовыми небелёными полотенцами, посреди комнаты, под толстой крышкой ход в подпол. Добрую половину избы занимала печь с полукруглым, как пещера, очагом и деревянным опечком, и на её продолжении, на высоком ложе, в тепле и полутьме, ожидала постель, лоскутное одеяло и войлочные подушки.

Вот оно, сказал себе пассажир.

Молча поужинали; ни капли сивухи. Муж улёгся, молодая, в домотканой длинной до щиколоток рубаше, долго молилась усопшим предкам; босая, с распущенной косой, сидела на корточках перед поднятой крышкой подпола, бросала крупу, вперялась расширенными зрачками в тёмные лики потустороннего мира. Оттуда, из подземелья, слышались шорохи, вздохи, обрывки непонятных речей; в мире мёртвых всё было наоборот, днём светила полная луна, ночью вставало жёлтое зловещее солнце. Там мужики превратились в баб, а жёны стали мужьями, но не было у них детей, и сколько народу прибывало, столько и оставалось.

Забиться, думал беглец, поселиться навсегда в тёплой, тёмной избе, и больше никуда.

Он давно потерял счёт дням, смутно припоминал, где, когда всё это было: хижина на поляне, и как он упал в снег, и собака бежит навстречу. Было ли на самом деле? А меж тем, покуда в глиняной плошке догорает сальный светильник и девственница восходит на брачное ложе, далеко за лесами грохочущий потный локомотив мчится, посылая вперёд слепящий луч. По-прежнему солдаты обходят клетки с людьми, раздают рыбу, выводят на оправку. Полутопкий, обливаемый оранжевым светом кочегар швыряет совковой лопатой уголь в паровозную топку, и бессонный машинист выглядывает из окна рубки. Вращаются оси, вверх-вниз ходят колёсные передачи, грохочут вагоны, несутся навстречу заснеженные леса, мёртвые полустанки, баба в тулупе стоит у шлагбаума с фонарём и скатанным флажком, — мимо, мимо, — но на самом деле колёса крутятся, и ни с места, шпалы уносятся назад и лежат неподвижно, нет расстояний, нет будущего, всё происходит одновременно, как события священной истории на клеймах старинных почернелых икон.

XI

Теперь нам следует вспомнить другое лицо. Василий Плюхин, 19... года рождения, русский, беспартийный, образование неполное среднее, уроженец Вологодской области, Початьевский район, деревня Стукалово. (Прежде к названию прибавляли: Троице-Плюхино тож.) Отбыв военную службу, вернулся, пробыл недолго, пьянствовал, успел перепортить всех девок, далее завербовался на Север, работал на лесосплаве, пропил заработанное, шатался Бог знает где. Решил вернуться в родные места. Застрял в пути, вдрызг

пьяный, оказался на полумёртвой станции Княжий погост Северной железной дороги; в полночь подошёл спецсостав, дальнейшее нам уже известно.

Довольно скоро в спецчасти комендантского лагпункта, куда Плюхин загремел с чужим формуляром, с десятком других заключённых, высаженных под конвоем в четырёх километрах от лагпункта, — эшелон шёл дальше, — заподозрено было неладное, начались допросы, дознание, сверка бумаг, запросы наверх; в конце концов, как ни казалось невероятным, пришлось убедиться, что узника подменили. «А я что говорил, — простонал Плюхин. — Вот с-суки!..»

Где, когда подменили, в тюрьме ли, по дороге, надлежало выяснить следствию, были допрошены свидетели, а какие могли быть свидетели — уж, конечно, не те, кто ночью на полустанке втащил Плюхина в вагон; те, само собой, помалкивали. Дело пахивало расправой для всех, кто имел к нему любое самое малое отношение, дошло до высших инстанций; тягали и начальника поезда, и машиниста, и коменданта станции Москва-товарная, где формировался этап, и кого-то из управления Северной дороги; в дальних лагерях разыскали сокамерников по спецкорпусу славной Бутырской тюрьмы и так называемой церкви — многолюдной этапной камере № 11, откуда отправился в дорогу исчезнувший беглец. Сыпались выговоры с занесением в личное дело, кое-кто полетел с работы, дело тянулось многие месяцы и кончилось ничем. Всесоюзный розыск никого не разыскал. Вот так же уходит в прошлое и возрождается история.

Оставалось предположить, что беглеца уже нет в живых; и так оно и было в некотором метафизическом смысле. А пока суд да дело Вася Плюхин, куда ж его девать, отбывает четвертной вместо сбежавшего: 25 лет и пять по рогам — поражение в правах. В каких правах? Никого это не интересует. По прибытии из карантинного на стационарный лагпункт он сперва вкальвует на общих работах. Но затем, принимая во внимание случившееся, учитывая примерное поведение, невзирая на огромный срок, его не то чтобы выпустили на волю, отпустить невозможно, но расконвоировали, и даже, сколько-то времени спустя, Вася был зачислен в самоохрану. С винтовкой в руках, вместе с солдатами срочной службы, водил колонну в рабочее оцепление. Дослужился там до каких-то невысоких высот — тут, наконец, пришло распоряжение выпустить. Василий Плюхин окончил в Вологде школу МВД. В звании младшего лейтенанта, в новеньких погонах и скрипучих сапогах отправился на по-

бывку в родные места, на радостях пил по дороге без просыпу, до деревни своей не доехал, вообще пропал: куда-то делся и больше не возвращался.

Жизнь полна чудесных превращений, но, в конце концов, всё должно быть чем-то обусловлено, всему есть причина. Вопрос лишь — кто сумеет дать толковое объяснение. Слишком велико и причудливо наше государство, чтобы властям, спохватившимся искать Плюхина, могло придти в голову, что он очутился в краях, где его ждала иная карьера.

Те, кого вёз в бескрайние дали облитый жарким маслянистым пóтом локомотив, те, кто ходил по вагонам, считал и пересчитывал головы, и одной головы не досчитался, как и те, кто встречал этап с собаками, с автоматами наперевес на конечной станции, — вся эта рать в травянистых бушлатах с оловянными буквами ВВ на тряпицах погон, что означает «внутренние войска», все эти бедолаги ничего не знали о других временах, не помнили предков. Но однажды, быть может, сидя в закутке для охраны у раскалённой железной печки всю долгую ночь, под стук колёс, увидели чудный сон о тех, других, кем они были когда-то в неподвижной смене веков, кем могли бы стать. И, продрогнув возле погасшей буржуйки, пробуждаясь от райского видения, — эх, эх, — испытывали тупое, тяжёлое разочарование. Поглядывали друг на друга, на истомлённые лица, на худую свою одежонку. Государевы стрельцы-то небось были понарядней.

В малиновом кафтане по цвету полка со стоячим воротником-козырем, в лихо заломленной шапке с меховым околышем, шагал во главе своего отряда, а лучше сказать, пробирался, не жалея сафьяновых сапог, по таёжным тропам и буеракам, с нанятым проводником из местных, лихой удалец, краснорожий от выпивки стрелецкий пятитсотный пристав Васька сын Григорьев, по прозвищу Плюха.

Да, жизнь его в самом деле была чередой чудесных превращений: попробуйте объяснить — не поверят.

ХП

«Рыщут», — сказал Авраам.

«Кто рыщет?»

«Стрельцы, кто ж ещё. Суки поганые. Нас ищут».

«Господь помилуй и спаси!» — вскричала Анфиса.

«Он тебя помилует, жди... Да не бойсь. Кто нас тут найдёт? А найдут, встретим как положено, угостим дорогих гостей... А? Вы как мыслите, мужики?»

Близнецы согласно кивнули.

По-разному передавали, чтостряслось в те дни в разбойном скиту; иным рассказам едва ли можно доверять, да и кто там особенно разбирался.

Как бы то ни было, исход не оставляет сомнений.

Обломки рухнувшего шатра с луковицей и крестом, чёрные пятна огня в бывшей трапезной, опустошённая церковь, пепелище на месте братских келий, остатки бани — вот всё, что осталось от обитатели. Труп сторожевой собаки с раскроенным черепом лежал перед двумя столбами обвалившихся ворот, Второй кобель невероятным усилием оттащил будку в лес и был там растерзан волчьей стаей. Исчезла голова бывшего игумена на колу. Обугленные трупы братии невозможно было опознать.

Спрашивается, где, от кого прослышал бывший (или будущий?) младший лейтенант внутренней службы, он же стрелецкий пристав о том, что виновник его былых невзгод жив и скрывается в таёжных дебрях, в логове богоотступников и шишей? Добрался ли Плюхин до беглого пассажира, чтобы ему отомстить? Или, что правдоподобней, ни о чём не знал, явился с отрядом по долгу службы во исполнение царского указа, по доносу деревенского старосты, по челобитной ограбленных купцов? По стечению обстоятельств, обычно называемому судьбой?..

Как объяснить эту встречу? Сошлёмся на притчу. Видите ли вы, спрашивал некий философ, вон того кота во дворе: если я скажу, что это тот самый, серый с подпалинами кот, который болтался тут пятьсот лет назад, вы пожмёте плечами. А между тем ещё нелепей считать, что это какой-то другой кот.

Ещё позволим себе такое сравнение: те, кто бывал в больших городах, могли видеть вечерами над крышей какого-нибудь большого здания бегущую световую надпись. Буквы рождаются из темноты, слова спешат друг за другом и пропадают во тьме — кажется, так бежит неустанное время. Но на самом деле ничто не бежит, не рождается и не умирает, перед нами игра лампочек на неподвижном панно.

Вновь, теперь уже напоследок, чёрные крылья вознеслись над разбойным гнездом выше облаков. Гамаюн летел далеко на Север, к островам полярного моря, к себе домой. Псы, очнувшись от дре-

мы, вскочили и залились лаем. Стрелецкий отряд с факелами окружил обитель. Прочистив горло, смачно сплюнув, пристав Василий Плюхин окликнул проснувшихся братьев. Ответом из-за ограды был лапидарный мат. Стрельцы — раз-два, взяли!.. ещё взяли!.. — бухнули бревном в ворота, оказавшиеся на удивление прочными. На крыльце трапезной стоял босой, в исподней рубахе и подштанниках, огромного роста мужепёс Авраамий, перекидывал из одной ручищи в другую острую секиру Улафа.

«Снесу башку, кто подойдёт!»

«Хо-хо! а вот хера мово облизать не хочешь?..» Плюха зашёлся смехом. Всё произошло в одно мгновение.

«Огонь!» — заорал он. И красавец Кудеяр рухнул, уронив оружие, сражённый выстрелами из пищалей.

Ещё сколько-то времени понадобилось, чтобы обложить стены соломой, подкатить бочонки со смолой и селитрой.

«Вот мы сейчас вас окрестим! Огненным крещением, псы смрадные, мандовошки!.. Выходи, кто там есть! — кричал Плюхин. — Бабы есть?.. И этот, как его!..»

Кого он имел в виду?

Это были его последние слова. Сверху, из узкой бойницы в шатре вылетела отравленная стрела, выпущенная последним из братьев, и командир стрелецкой сотни, развесив руки, молча, с раскрытым ртом и выпученными глазами, обращёнными к небесам, зашатался и пал.

В подклете Анфиса шарила во тьме по мокрым каменным стенам, натыкалась на бочки с припасами, сундуки с драгоценным добром. Подземный ход вывел её в лес. Столб багрового дыма стоял над деревьями.

Со смертью Авраама и его братьев прервалась русская ветвь наследников норвежского короля; но не прекратилась история. Ибо история всегда едина, и времена в некотором высшем смысле суть одно неподвижно текучее время. А пассажир? Оставил ли он сына крепостной крестьянке, сироте Устинье?

Если, как считается, заразные болезни распространяются со скоростью транспортных средств эпохи, — например, со скоростью почтовой кареты, — то злые вести летят по ветру. Точнее, известие принесла Анфиса. И не успел заняться рассвет, как пассажир покинул деревню.

Беглец продолжал свой путь.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Весь фокус был в том, чтобы найти равновесие между реальностью ситуации, будничной и логичной, и нагромождением неожиданных препятствий, которые, однако, не должны были производить впечатление фантастических. На помощь пришёл сон — и даже сон во сне.

Луис Бунюэль

I

Вы согласитесь со мной, что с каждым могут случаться странности. То, что со мной случилось, покажется неправдоподобным. Я слышал, как голос вещает по радио, различал отчётливо каждое слово и не понимал ни слова. Наконец, до меня дошло: авария в туннеле. Пассажиров просят воспользоваться наземным транспортом. Народ уже ехал вверх по эскалатору. Чёрные клочья небес висели над крышами зданий, мимо неслись машины с включёнными фарами, сеялся мелкий дождь, от которого всё вокруг — окна домов, тротуар, лица прохожих — приняло неживой, оловянный оттенок. Жизнь суетилась вокруг меня, это была механическая, мёртвая жизнь без цели и смысла, напоминающая старую поцарапанную киноплёнку. Я стал в очередь, но никакой очереди не соблюдалось. Люди втискивались как попало в подошедший, старый и забрызганный грязью автобус. Я ехал в молчаливой колыхающейся толпе, в испарениях пота и влаги, автобус кружил по извилистым улочкам, сквозь мутные стёкла ничего не разобрать.

Стемнело, зажглись фонари; смутные отсветы дрожали на лицах, никто не выходил, на остановках новые толпы штурмовали автобус, руки висящих искали за что уцепиться, экипаж, как корабль от пристани, грузно отвалил от тротуара, проплыл ярко освещённый циферблат. Следовало перевести стрелки; в эту минуту я уже

вполне отдавал себе отчёт в том, что моя затея безумна; возвращаться было поздно, и что значило возвращаться, куда? Ведь я и так возвращался.

Оказалось, что в дом невозможно войти. Это было что-то новое, подражание за границе; других новшеств я не заметил, в общем-то ничего не изменилось за эти годы. Это угнетало и утешало в то же время, и даже придавало мне отваги. Наружная дверь снабжена устройством с кнопками и микрофоном. Здесь боялись бандитов. Сообразив, что надо набрать номер квартиры, я надавил на кнопку с надписью «входите», — безрезультатно. Тут каким-то образом возник некто в плаще с поднятым воротником, в низко надвинутой шляпе, что-то нажал, произнёс что-то, может быть, пароль, и открыл дверь. «Подождите», — сказал я (или хотел сказать), схватился за ручку, но человек как будто не слышал и с силой захлопнул за собой дверь. Я сошёл с тротуара: это был наш дом, мертвенно отсвечивали высоко под крышей наши тёмные окна. Незачем было тащиться — её нет и не может быть. Ноги подтащили меня к дверям, я надавил, сколько было силы, на кнопки, услышал шорох в микрофоне и рванул ручку. Я был доволен, что человек не пустил меня в дом, никто не будет знать, что я здесь. Лифт, как всегда, не работал. По тёмной лестнице, этаж за этажом, я крался наверх, пока не увидел над головой потолок. Позвонил, и мне открыли.

Она была в домашнем халатике. Вероятно, она уже легла, я заметил неприбранную постель. В комнате ничего не изменилось. Моя жена тоже не изменилась. Всё тот же болезненный вид, блестящие волосы и круги под глазами. «Выпьешь чаю? — беззвучно спросила она. — Когда ты приехал?» Очевидно, предположила, видя меня без багажа, что я уже несколько дней в городе.

Я ответил: «Какой-то жилец захлопнул дверь прямо перед моим носом. Разве я похож на преступника?»

Она улыбнулась.

«Тебя не удивляет, — продолжал я, — что я пришёл без предупреждения?»

Она покачала головой, её взор блуждал, избегая моих глаз, она запахла на шее халат.

«Тебя не интересует, как я живу?»

Ответа не было. Мы стояли друг перед другом, я уловил лёгкий вздох, её губы прошелестели: «Я знала».

«Да, но...»

«Я знала, что ты вернёшься», — сказала она.

Эти слова меня удивили и обрадовали, я не нашёл, что ответить. Речь, которую я приготовил, застряла у меня в горле. «Но ты же понимаешь, Катя...» — пробормотал я.

«...вернёшься, — сказала она, словно не расслышав моих слов, — и мы будем жить по-старому».

Вот это мне уже не нравилось, это напоминало наши бесконечные ночные пререкания. Я чуть было не возразил: по-старому? Что значит по-старому? Опять всё сначала: обыски, допросы, машина под окнами? Я ничего не сказал, она прочла мои мысли. Усталым жестом провела рукой по волосам.

«Теперь всё переменялось. Если бы не переменялось, тебя бы здесь не было...»

О, нет, Катя, хотел я сказать, ничего не переменялось.

«Я знала, — продолжала она. — Знала, что ты приедешь. Я тебя ждала. Каждый день ждала. Вчера ждала. Сегодня ждала».

«Я тебя разбудил...»

«Да. Я успела задремать и увидела во сне, будто ты приехал и стоишь внизу. В дверь звонят, а я лежу и ничего не слышу. — Она засмеялась. — Может, ты и сейчас мне снишься?».

«Катя. Сейчас не время. Мы можем всё спокойно обсудить позже».

Неполадки, конечно, бывают, продолжал я, но их быстро устраняют, это не Россия. Она усмехнулась, смотрите-ка, сказала она, каким ты там сделался патриотом. Я объяснил: нам бы только добраться до метро.

«До метро?»

«Да. Спустимся вниз, и никто нас уже не сцапает».

Она ничего не понимала: кто нас должен сцапать? Какие неполадки?

«Сам не знаю; авария или что там. — Я хотел рассказать, как я ждал поезда, не мог догадаться, о чём вещал громкоговоритель; но сейчас это не имело значения. — Важно, что это способ, понимаешь? Способ уехать».

«Уехать?»

«Ну, конечно».

«А я думала...» — пробормотала она.

Я хотел было сказать, что приехал не совсем легально, но сообразил, что сейчас об этом лучше помалкивать, это может её отпугнуть. Я вдруг растерял все мысли. Всё начало путаться в голове.

А главное, я забыл, что нельзя задавать некоторые вопросы. Нарушил правила игры, которые мы, не сговариваясь, молча установили для себя.

Ни с того ни с сего я брякнул:

«Катерина... неужели это правда?»

Я имел в виду, что она, как бы это выразиться. Что она жива.

«Как видишь», — сказала она просто. Поёжилась, поплотней запахла халатик.

Выходило, что она как будто даже знала о том, что до меня дошло это известие. Итак, я по крайней мере удостоверился, что известие было ошибочным. Теперь я даже не помнил, когда я его получил, три года назад или ещё раньше, да и не всё ли равно. Это была ложь. Без сомнения, дело рук всё той же организации. На них это похоже. У них есть специальный отдел для распространения ложных слухов.

Смешно! А я-то, дурак, поверил, не знал, куда деться от тоски и горя.

Она сказала:

«Ты мне не писал. Я поняла, что ты занят... готовишься к возвращению».

Опять она об одном и том же.

«Катя, пойми. Там была авария, — сказал я, забыв, что уже говорил об этом. — Теперь всё поправили. Собирайся».

«Куда?»

«У нас мало времени. Собери самое необходимое».

Я встал и начал ходить по комнате. Моя жена дрожала, я видел, что у неё поднялась температура, обычная история, но мне не хотелось думать сейчас об этом, я сказал, у тебя окошко открыто, ты не одета, здесь другой климат. Здесь гораздо холодней, чем у нас там... и подошёл к окну, лёгкий ветер отдувал занавеску. И было такое впечатление, будто город исчез. Не было переулка и дома напротив, и даже не видно было горизонта, чёрная пустота, ночь, похожая на небытие. Но, приглядевшись, я кое-что заметил.

«Послушай... — проговорил я. — Там стоит машина».

«Какая машина?»

«Перед домом! — закричал я. — Ты что, успела сообщить этим крысам?»

Она только испуганно мотала головой, закрыла рот рукой.

«Прекрасно, — бормотал я, озираясь, — ты не обращай внимания, я сейчас... Скажешь, что у тебя никого не было. Скажешь, ты

спала и ничего не слышала...» Я выскочил на лестничную площадку и стоял, схватившись за перила, была мёртвая тишина. Очевидно, они ждали, когда я выйду из подъезда. Я рассчитывал спуститься в подвал и оттуда как-нибудь выбраться через окно; впрочем, стук разбитого стекла мог привлечь внимание. Тут я заметил — было ли это через несколько секунд или минут? — заметил, что считаю этажи: в это время я сходил по лестнице. Никакого хода в подвал не оказалось. В этой тишине таилась такая угроза, что лучше бы уж снаружи слышались шаги или рокот мотора. Подкравшись на цыпочках, я приоткрыл парадную дверь. Но машины не было, никого не было, и я двинулся, инстинктивно приглушая шаги, наугад по тёмному переулку.

II

Не помню, чтобы я просыпался, радуясь предстоящему дню. Утро для меня время трезвой безнадёжности. Обстоятельства тут ни при чём; причины скорее внутренние. Утро заглядывает в моё жильё, слёзы дождя стекают по стёклам, диктор читает последние известия, не отличимые от вчерашних. Я не стал бриться, что было бы совершенно излишним. Позавтракал чем Бог послал.

Вероятно, мне надо представиться. Надо ли? *Nomina sunt odiosa!*¹ Те, кто со мной знаком, знают, как меня звать, для незнакомых не всё ли равно? Платон говорит (устаами Сократа), что имена следует давать, не погрешая против природы. Прав он или не прав, но имя становится в самом деле частью вашего естества, как горб или кривой нос. Я существо мужского пола. Об этом можно догадаться по глагольным формам, мною употребляемым. Мне пошёл пятый десяток, примерно столько же мне можно дать, взглянув на меня. Я уже не молод, но ещё не стар. Роста я невысокого, особо располагающей внешностью похвастаться не могу; если женщины изредка оказывают мне внимание, то это объясняется разве лишь состраданием. Далее, я не являюсь подданным этой страны, хотя живу здесь постоянно. На вопрос, нравится ли мне здесь, я могу ответить: да, потому что всегда можно отсюда уехать. Не всякому государству можно поставить в заслугу, что оно не держит на привязи своих жителей.

¹ Имена ненавистны (лат.).

В четверть восьмого (мои часы спрятаны под рукавом балахона, на мне просторные штаны неопределённого цвета, на голове антикварная фетровая шляпа, башмаки просят каши) я поднимаюсь по широким ступеням храма св. Иоанна Непомука, расстилаю коврик, вернее, то, что когда-то было ковриком. Рядом со мной стоит бутылка красного вина, наполовину опорожнённая, это наводит на мысль, что я успел подкрепиться спозаранок. Таков в двух словах мой «имидж». Что же касается моего характера, менталитета или как там это называется, то важная черта его состоит в том, что я остаюсь самим собой и в то же время обзираю себя со стороны. При кажущейся несообразности моего существования я сохраняю безупречный контроль над собой. Порядок есть порядок; внутри некоторой безумной системы царствует логика. Это правило одинаково применимо к произведениям искусства, к снам и к повседневной жизни. Я сижу, прислонившись к колонне. Головной убор покоится между ног.

Итак, мы можем считать, что рабочий день начался, время подумать о душе, поразмыслить о моей профессии, одной из древнейших. Но день сулил мне неприятности. Я должен был их предвидеть.

Не успел я собрать и гроша, как из-за угла (церковь стоит у поворота на магистральную улицу и несколько особняком) выступил субъект, в котором я без труда распознал собрата по ремеслу; возможно, он поджидал меня. Он склонил взгляд на мою шляпу, как заглядывают в высохший колодец. Я извлёк из-за пазухи стаканчик, налил ему. Он отпил глоток и выплюнул.

«Дрянь».

Я пожал плечами: дескать, что поделаешь.

«Погодка, — по-русски сказал он, садясь рядом. — Давно тут пасёшься?»

Человек протянул корявую ладонь.

«Вальдемар. Можно просто Вальди. А тебя как? Ты что, инопланетянин?»

Я искоса взглянул на него и сказал:

«Каждые семьдесят шесть лет комета Галлея появляется на нашем небе».

«Да ну?» — сказал он лениво.

«Каждые полторы секунды на земле совершается три тысячи убийств».

«Я думаю, больше».

«Восемнадцать с половиной тысяч изнасилований».

«Доказать невозможно, — заметил он, — у бабы не всегда поймёшь, хочет она или не хочет. — Закончив разговор, он поднялся. — Собирай манатки, пошли».

«Куда?»

«Здесь всё равно ничего не соберёшь».

«Я собирал».

«Пошли, я тебя с нашими познакомлю. Кому сказали! А то хуже будет», — добавил он.

С ковриком под мышкой я поплёлся за ним; тот, кто знает город, может мысленно проследить наш маршрут. Переулками, избегая шумные магистрали, мы шагали по направлению к Северному кладбищу. Дождь перестал. Исчезли нарядные вывески, с каждым перекрёстком дома становились ниже и неказистей. Жалкое солнце осветило скучные, пустынные кварталы, где я никогда не бывал. Утро можно было считать потерянном. Оставалось не так уж много времени до полудня, когда мне надлежало отправляться на вторую работу.

«Слушай, Вальди...» — пробормотал я.

«Без паники; сейчас всё узнаешь. Ты про такого композитора слышал: Вивальди?»

Мы брели мимо низких слепых окон, горшков с мёртвой геранью, мимо заборов и подворотен, завернули в хозяйственный двор, пробрались между фургонами и штабелями пустых ящиков; это были задворки магазина, выходящего на другую улицу. Во дворе стоял трёхэтажный дом с пыльными окнами и зияющим входом, на вид нежилой, вошли, узкая лестница, шаткие железные перила, выщербленные ступеньки. Вожатый трижды стукнул кулаком, выждал и стукнул ещё раз. Некто со съехавшей вбок физиономией — в народе говорят: косорылый — впустил нас в полутёмную прихожую. Коридор загромождён рухлядью, с кухни тянет пригорелым, пованивает отбросами.

В большой комнате сидел перед отечественным самоваром человек с наружностью отставного профессора, в полуседой бороде, в пенсне, с высоким залысым лбом, в парчёвом халате, как будто шитом из театрального занавеса, продранном под мышками и на локтях. Рядом на стуле стоял проигрыватель.

«Вивальди привёл», — доложил косорылый.

«Астрономией интересуется, — пояснил Вальдемар, — говорит, комета Галлея... каждые сто лет».

«Семьдесят шесть», — презрительно сказал я.

«Да неужто? — удивился профессор. — Вы действительно так думаете?»

«Это установленный факт», — возразил я.

«Нет, вы это серьёзно?»

Человек за столом обратил вопросительный взор к Вальдемару. Тот пожал плечами, профессор шумно втянул воздух через волосатые ноздри и насутился. Наступило молчание, затем он промолвил:

«Этот вопрос стоит обдумать. Подстилку можете положить в угол...»

Он сделал знак косорылому. Меня отвели в другую комнату, где было ещё грязнее. С топчана поднялся детина огромного роста, гривастый, с чёлкой до бровей, и, не говоря худого слова, врезал мне по уху. Я пошатнулся и чуть не сел на пол.

«Ты чего... что такое...» — лепетал я, закрываясь руками, и получил вторую затрепщину.

В дверь всунулся Вивальди.

«Ты зачем коллегу обижаешь, Дёма? Нехорошо!»

«Ты... ёбт!» — проревел Голиаф и ощерился, делая вид, что хочет наброситься на него.

«Да ладно тебе...» Поддерживаемый с двух сторон Вальдемаром и субъектом с несимметричной физиономией, я был препровождён назад в гостиную, где профессор в халате пил из блюдечка чай.

«Безобразие! — сказал он. — Где вторая чашка? И пирожные. Кто сожрал пирожные, признавайтесь, суки».

Передо мной поставили чай, явилось и блюдо с полурасплющенным пирожным.

«Сливки?» — осведомился профессор.

Просверлив меня взглядом, он проговорил:

«Пошли вон... (Это относилось не ко мне.) Дёме передать, чтоб больше не смел».

Мне он сказал:

«У него тяжёлая рука. Этак и убить можно. Но! Порядок есть порядок. Вот так. Лицензия у вас имеется?»

«Какая лицензия?»

«Какая, какая, в гроб твою мать. Полицейская, какая же ещё. Полиция даёт разрешение на занятие промыслом, вы что, впервые об этом слышите? Пейте чай».

«Я думал...» — сказал я.

«А не надо думать. Поберегите умственную энергию для более серьёзных вопросов. Что вы думаете о проблеме бытия?»

«Ничего не думаю, — сказал я мрачно. — Мне надо идти».

«Куда это?»

«Мне пора на работу».

«Ась? Не слышу».

«На работу...»

«На какую это работу? Ага, — сказал он. — А вот это уже совсем плохо. Из ваших слов я заключаю, что промысел для вас всего лишь побочное занятие, так сказать, халтурка с целью подзаработать...»

«Промысел?»

«Да. Из ваших слов следует, что промысел для вас не работа».

«Одно другому не мешает».

«Ошибаетесь, любезный... Этот вопрос, впрочем, можно обсудить. Ты что, брезгуешь, дай-ка мне... — пробормотал он, забывая у меня пирожное. — Полиция дело десятое, — продолжал он, — мы тебе эту лицензию устроим. Я сам позабочусь... И заруби себе на носу: никакой самодеятельности. Ты находишься в свободном государстве. И более того. Ты живёшь в правовом государстве. Хочешь работать, работай. Хочешь собирать милостыню — пожалуйста. На голове ходить? Сделай одолжение. Но! — рявкнул он, подняв палец, — изволь соблюдать порядок. А то, понимаешь, выбрал себе местечко: без разрешения, без согласования! Если каждый будет себе позволять... Один у Непомука, другой в оперном театре начнёт собирать, а то ещё, пожалуйста, у дверей земельного парламента...»

Профессор дожеввал пирожное, обсосал пальцы.

«Договоримся так. Ты до какого часа сидишь? До обеда? Вивальди в это время как раз обходит коллег. Двадцать пять процентов. Это нормальное обложение, я бы даже сказал, гуманное... в других городах взимают половину. Мою мысль понял?»

«Понял, — сказал я. — А если ничего не соберу?»

«Так не бывает».

«Иногда бывает».

«Это от неопытности. Ничего, научишься... Разве что погодные условия могут быть неблагоприятны, ну там, проливной дождь... Да ты и сам не вылезешь в такую погоду. Ты пособие получаешь? нет? Я тебя ставлю на пособие. В случае падения подаваемости. И смотри у меня, — сказал профессор, — один раз поймаю — всё, ты

у меня вышел из доверия. За укрывательство знаешь что бывает? Я тебя достану из-под земли. Мои люди тебя всюду найдут, заруби это себе... Эй, кто там? — крикнул он. — Неси сюда».

Косорылый явился с грамофонной пластинкой.

«Терпеть не могу эти новые...». Он имел в виду компакт-диски.

Профессор отодвинул чашку и застыл в молитвенной позе.

«Прекратить пить чай, — сказал он внятно. — Это кто?»

«Перголези. Stabat mater».

«Правильно. Вот за это хвалю».

Минут пять послушали, этого было достаточно, чтобы что-то переменялось в гнуснейшем из миров. Шеф приподнялся, остановил музыку.

«Гармония происходит отсюда, — он поднял кверху палец, — это я тебе как знатоку астрономии говорю. Ты о Пифагоре слыхал? Пифагор учил... музыка сфер...»

«Это каждый ребёнок знает», — сказал я.

«Не каждый. Никто из этих говноедов не имеет представления о том, что такое настоящая музыка... Я упомяну о тебе в своих мемуарах. Давно побираться? Один живёшь? Когда приехал?..»

Аудиенция закончилась.

III

Пришлось искать такси — как ни мало это согласовалось с моим одеянием. Шофёр опустил стекло и осведомился насчёт платёжеспособности. Я сунул ему купюру и плюхнулся на заднее сиденье. Машина остановилась возле моего дома; чтобы не привлекать внимания, я попросил въехать во двор, выскочил, не теряя времени, и взбежал по чёрной лестнице. Я опаздывал.

Полчаса спустя (метро с пересадкой) я свернул на улицу Шеллинга и зашагал в толпе; я был свежевыбрит, сделался выше ростом и помолодел, женщины угадывали во мне удовлетворительную потенцию, моя шляпа, плащ, галстук, ботинки ничем не выделяли меня среди снующих взад и вперёд пешеходов, меня можно было отнести к нижней половине среднего класса. Я как бы видел себя со стороны. Мои глаза приняли неопределённую окраску — это был цвет погоды, физиономия лишилась какого-либо выражения, если не считать летучей заботы, своего рода рассеянной сосредоточенности горожанина; короче, я стал ни-

кем. Клим, услышав шаги, вышел в коридор, где у нас помещаются шкаф с бумажным хламом и фотокопировальная машина. Куда я пропал? Потрясающие новости.

Неизвестные люди в Бухаресте подожгли автомобильные покрывала перед статуей кондукатора. Это может означать начало очень важных перемен. Продолжаются демонстрации в Польше. Обыски и аресты в Москве. Я придвигаю стул вплотную к письменному столу, чтобы освободить место посреди комнаты, и становлюсь на голову. С улицы доносится гул города. У меня слегка поламывает скула после дёминого приветствия. Два женских голоса поют в моей душе, лебединая песня Джованни Баттиста Перголези.

Я держу равновесие; люди, которые умеют стоять на голове, всегда вызывали у меня почтительное изумление, и я, наконец, научился этому искусству; оно возвращает мне чувство самоуважения и утверждает моё место в мире; люди, стоящие вверх ногами, легче справляются с существованием в мире, который в некотором смысле тоже стоит на голове. Я уселся за стол, меня ждёт кипа рукописей. Почти наугад вытягиваю одну, заглядываю в конец, чтобы сразу прикинуть, сколько нужно сократить. Начнём с начала; заголовков никуда не годится. Заголовок не должен обозначать содержание, для этого существует подзаголовок. Заголовок — это метафора, он должен быть неожиданным, загадочным, интригующим, заголовок статьи — это встреча, полная романтических ожиданий, а подзаголовок — то, чем незнакомка окажется на самом деле. Первая фраза всегда лишняя. Весь первый абзац, в сущности, лишний. Нужно брать быка за рога, нужно швырнуть читателя в водоворот событий вместо того, чтобы топтаться на берегу. Я работаю, вычёркиваю, вписываю, исправляю неправильные обороты, я прекрасно понимаю, с кем я имею дело. Автор — заслуженный борец с тоталитарным режимом, что, по-видимому, даёт ему право не заботиться о таких пустяках, как синтаксис и грамматика. О слоге не приходится говорить. В комнате устоявшийся запах рутины. Мой стол, телефон, стопка исчёрканных, испещрённых корректорскими значками страниц — всё пропиталось этим запахом, похожим на запах скверного табака. Время от времени я смотрю в окошко. Моё тело сидит за столом, голова ушла в плечи, лёгкие всасывают воздух, почки процеживают кровь, органы наслаждения безмолвствуют в углублении между бедрами и животом. Несколько времени погода я отправляюсь в кабинет Клим, где всё дышит энтузиазмом. Мы составляем план номера, и я по-прежнему поглядываю в окно.

Мой коллега, товарищ по общей судьбе и благородному делу, тот, кому это дело обязано своим существованием, а я — работой и зарплатой, заслуживает того, чтобы по крайней мере сказать о нём несколько слов. Беда в том, что говорить о нём мне скучно. Это не значит, что я отношусь к нему плохо. Мы друзья и научились терпеть друг друга. Две черты его характера, по-видимому, необходимы для выполнения миссии, которую он возложил на себя: самоотверженность и нетерпимость. Он всегда готов очертя голову броситься на помощь преследуемым, арестованным, сосланным, заточённым в психиатрическую тюрьму. Если бы он мог поехать «туда», чтобы разделить с ними их участь, он бы сделал это. Что касается другой черты, то она приняла у него своеобразную форму всесторонней осведомлённости. Он всё знает и притом лучше всех. Он знает историю, философию, медицину, искусство, кулинарию и многое другое. Нужно остерегаться обсуждать с ним что бы то ни было, паче всего — вторгаться в политику. Здесь возможна лишь одна форма диалога: согласие и поддакивание. Здесь он непререкаем и неумолим. Клим моложе меня на добрый десяток лет. На нашей бывшей родине он знаменит. Он подписал две дюжины писем протеста и отсидел несколько лет в тюрьме. Его арест в свою очередь вызвал волну протестов, о его освобождении ходатайствовали руководители нескольких стран. Я чувствую себя обязанным воздать моему товарищу нелицемерную хвалу за то, что он пострадал за свои убеждения, в отличие от меня, который их не имел. Я не задаюсь вопросом, что подумал бы честный Клим, увидев меня сидящим на ступенях Непомука. Притом что всё это, заметьте, происходит не так уж далеко от редакции. Но, представив на минуту, что кто-то мог бы меня разоблачить, я тотчас отвергаю это предположение, я уверен, что осколки моего существования разлетелись так далеко, что сложить их вместе, как осколки разбитой тарелки, не сумел бы никто.

Жизнь не равна самой себе, вот в чём дело. У действительности есть второе дно. Будь я художником, я примкнул бы к школе, которая доверяет фантазиям больше, чем реальности, и декларирует сверхистину снов, я не удивился бы, увидев вместо Клина в кресле главного редактора какое-нибудь монструозное существо. Я даже думаю, что так оно и есть, просто это не бросается в глаза. Мир, если уж на то пошло, выглядит для меня более упорядоченным, пожалуй, даже более пристойным, когда я сижу у колонны со своей шляпой и початой бутылкой; двусмысленность мира не кажется та-

кой очевидной, как в то время, когда, переодетый в цивильное платье, я сижу, как сейчас, в кабинете Клима. Возможно, я несую околесицу, но позвольте уж договорить.

Утром, со своего поста на ступенях я вижу ноги женщин, я выбираю какую-нибудь фигурку и провожаю её взглядом до угла. Монеты падают в шляпу, механически я повторяю формулу благодарности. Не то чтобы я испытывал вожделение ко всем этим девушкам, но и там, за углом улицы, я не покидаю незнакомку, почти уже не помня, как она выглядит. Невидимый, я иду следом за ней, постепенно она теряет остатки индивидуальности, от неё осталась одна походка, но походка — это и есть то, что делает её женщиной, просто женщиной; она отпирает ключом парадный подъезд, входит в холл, она у себя в квартире, и когда она снимает уличную одежду, чтобы облечься во что-нибудь домашнее, прикинуть к зеркалу, разглядеть что-то у себя на щеке или просто полюбоваться собой, обшарить всю себя глазами одновременно женскими и мужскими, — я с ней, я знаю, что отразится в стекле. А сейчас? Поглядывая из окна редакции на прохожих, я вижу, может быть, тех же людей, что бросали мне мимоходом монеты, чего доброго, замечаю ту же самую девицу; небо густеет, вот-вот вспыхнут фонари, сейчас она одета совсем по-другому, она элегантна и ослепительна, но кто она, кто они все под их одеяниями? Невиданные, странные, может быть, мохнатые или чешуйчатые существа.

IV

Вернёмся к тому, что принято называть действительностью: на этот раз дело происходит в полуподвальчике неподалёку от наших мест. За каким лешим, спрашивается, меня туда занесло? Мой новый друг профессор оккультных наук сидел за столиком. Профессор помахал мне рукой.

«Рад вас видеть», — сказал я кисло.

«Брось. Давай по-простому, на “ты”».

«Рад тебя видеть, пахан».

Я озираюсь. Я был в цивильной одежде.

«Э, э, э. Не вздумай спастись бегством. С чего это ты меня так называешь? Согласно современным словарям, пахан — это главный бандит. Это годится для главы правительства. Но мы-то ведь не бандиты. Садись... Есть хочешь? Я угощаю».

Так не говорят, заметил я.

«А как говорят?»

«Я приглашаю».

«Ну, мы по-русски, чего там».

Он подозвал официанта.

«Принеси-ка нам, дорогуша, этого... того».

Кельнер солидно прочистил горло.

«Ну, сам понимаешь», — сказал профессор.

Кельнер явился с подносом, расставил тарелки, бокалы, сунул поднос под мышку и показал профессору бутылку. Профессор наклонил голову. Кельнер вынул штопор. Профессор отведал вино, величественно кивнул. Несмотря на убогий вид заведения, здесь соблюдалась некоторая торжественность, по крайней мере до тех пор, пока не набралось достаточно народу. Время было уже не обеденное, вечер ещё не настал. Вечер двигался на нас из России. В углу сидела пара: плохо одетый, изжѣванный жизнью мужчина и девушка. Она смотрела на него, он, по-видимому, избегал её взгляда. Обычный сценарий, она призвала его, чтобы сообщить, что у неё задержка. Но они могли быть отцом и дочерью. Папаша снова лишился работы, она собирается прочесть ему нотацию. Или познакомились на улице, в сквере перед памятником монарха. Он не смеет признаться, что у него нет денег заплатить за обед.

Профессор был облачён в полосатый костюм, платочек уголком в нагрудном кармане, борода подстрижена, на шее «киса», на носу пенсне. Профессор потребовал предварительно по рюмке шнапса. Человек в углу поглядывал на нас.

«Prost, дядя», — сказал я.

«Prost, малыш».

Он запихнул салфетку между воротничком и жилистой шеей, вооружился инструментами.

«Что слышно нового из Гринвичской обсерватории?»

«Она закрылась», — сказал я.

«В чём дело?»

«Треснул телескоп».

На несколько мгновений профессор погрузился в задумчивость, ковырнул вилкой еду и вновь, постучав ножом о тарелку, поманил кельнера.

«Это что такое?»

Официант объяснил, что это такое.

«Нет, я спрашиваю, что это такое!»

Кельнер молчал.

«У меня на родине это называется...»

«Вот и поезжайте к себе на родину», — возразил кельнер.

«Что? Повтори, что ты сказал».

«То, что вы слышали».

Я встал и отправился с кельнером на кухню, сказав ему что-то.

«Нет, как тебе это нравится?» — кипятился профессор.

Человек, сидевший с девицей, подошёл к нам.

«Я вас прекрасно понимаю. Они все ведут себя возмутительно. Я спрашиваю себя, зачем я сюда пришёл...»

«Ты бы лучше себя спросил, зачем ты сюда приехал», — буркнул профессор.

Я сказал: «Он сейчас принесёт замену».

Дядя снял стёкла с утинового носа и стал протирать их краем салфетки, мрачно сопя ноздрями. Человек топтался возле стола, очевидно, намереваясь продолжить разговор.

«Благодарю вас», — пробормотал профессор. Человек вежливо кашлянул.

«А, — сказал профессор. — Вот в чём дело. Да ведь я тебя, кажется, знаю...»

Человек получил монету, дядя сверкнул стёклышками вслед ему. Девушка пудрилась, глядя в зеркальце.

«В прошлом году, — сказал дядя, — я с этим хмырём, м-да. Мылся в миоллеровских банях. У него член длиной в двадцать сантиметров. Но это ровно ничего не означает».

«Вообще, — продолжал он, — это начинает меня беспокоить. Процветающее общество — необходимое условие для нищенства, ибо какой смысл собирать подаяние, если все кругом нищие, но когда наша профессия приобретает чрезмерную популярность, это скверный признак. Во-первых, рост конкуренции. В нашем деле конкуренция полезна лишь в определённых пределах... Во-вторых, затрудняется контроль. Этот процелыга посмел подойти ко мне. Потребовать милостыню — у меня! И, наконец, где мы живём? В цивилизованной стране или в Бурунди?»

Кельнер поставил перед нами тарелки, молча, с обиженной миной разлил божоле по бокалам, мы с дядей чокнулись и принялись за еду.

«В следующий раз я тебя приглашу», — сказал я.

«В следующий раз? А ты уверен, что мы с тобой ещё увидимся? Меня приглашают, когда я сочту нужным. После предварительного согласования... Ладно, — сказал он, утирая рот салфеткой, — рассказывай...»

«Что рассказывать?»

«Я собираюсь вплотную заняться моими мемуарами. Возможно, мне придётся на некоторое время удалиться от дел... Рассказывай о себе. Кто ты, что ты».

Я заметил, что человек, принявший от профессора дань милосердия, исчез. Девушка по-прежнему сидела в углу.

Профессор, с бокалом в руке, воззрился на меня; я пожал плечами.

«Хорошо, я скажу тебе сам. Ты оборотень. Ты ведёшь двойную жизнь. Утром ты одно, а после обеда другое. Может, ночью ещё что-нибудь, кто тебя знает. Может, у тебя хвост и три яйца».

«Вы просто как в воду смотрите».

«Для того, кто знаком с тайновидением, это не проблема. Может быть, на твоей работе ты недостаточно зарабатываешь».

«Prost», — сказал я, подняв бокал, и показал глазами на незнакомку, дескать, не пригласить ли её к нашему столу,

«На кой хер она нам сдалась. Prost... Сбор милостыни, как известно, доходный промысел, так что это предположение не лишено смысла. Возможно, тебя соблазнила авантюра двойственного существования, ты захотел выломиться из социальной рутины, из этих оглобелей; но ведь попрошайничество — это тоже оглобли, а? Только в другом роде».

Он приблизил ко мне своё бородатое лицо, угреватый нос, безумные глаза за стёклышками пенсне: «Существует... — зашептал он, — внутренняя, непреодолимая тяга к нищенству, инстинкт нищенства, подобный инстинкту смерти... Тайный голос зовёт: бросай всё на х...!»

«Не исключено», — сказал я.

«А может быть, две планеты правят твоим астральным телом, заставляя тебя быть то тем, то этим; в конце концов это легко проверить, ты как считаешь?»

«Возможно».

«И, наконец... — оккультный профессор яростно вкалывал вилку, пилил ножом, жевал жилистое мясо жёлтыми зубами, — наконец... я высказал несколько гипотез, но вот она, страшная догадка: может быть, ты, едрёна вошь, — писатель? Золя ездил с машинистом в паровозе, спускался в шахту. Даже, говорят, спал с проститутками, чтобы изучить, так сказать, технологию... Ты тоже решил побыть нищим, чтобы написать роман».

Я сказал: «Это уже теплее».

Мне показалось, что незнакомка сделала мне знак. Негодяй удрал и не заплатил.

«То есть не совсем тепло. Я работаю в журнале, ничего особенного», — добавил я, видя, что дядя, держа нож в кулаке, нацелился на меня смертоносным лучом.

«Журналист?» — просипел профессор.

«Не то что бы, но вроде».

«А я это, между прочим, знал!»

«Зачем же спрашивать?»

«Чтобы подтвердить имеющиеся данные. Мы, любезнейший, осведомлены лучше, чем ты предполагаешь. И в небе, и в земле сокрыто больше... как это говорит принц Гамлет, ну тот, который был автором трагедий Шекспира? Чем снится нашей мудрости, Горацио? Так вот, к вашему сведению: как раз наоборот — ничего не сокрыто. От нас не скроешься... Ты мне вот что скажи... Э, чёрт, зачихнуть бы им в глотку это мясо!»

Он выплюнул ком и швырнул его через плечо.

«Ты мне вот что скажи: на кой чёрт тебе всё это сдалось? Хочешь изменить порядки в России? Это ещё никому никогда не удавалось. Кому там нужна ваша демократия, ты себя когда-нибудь спрашивал? Там нужно вот что! — Дядя показал кулак. — Не говоря уже о том, что борцы за демократию сами меньше всего демократы. В этом состоит ирония судьбы, историческая ирония. Хохот богов, а? Ты не находишь?»

Я пожал плечами.

«Так или иначе, — пробормотал он, — всё скоро полетит к чертям».

«Что полетит к чертям?»

«Вся эта ваша свободная пресса. Если режим рухнет, кто её будет читать? Вы все осиротеете без этого режима».

«Ну и прекрасно».

«Так-то оно так. Только вы все останетесь без работы. Вы даже не понимаете, что пилите сук, на котором сидите... Или ты хочешь сказать, что у тебя есть в запасе другой заработок? А-а, вот оно что! — вскричал он. — Готовишься заранее. Они все будут лапу сосать, а у тебя тёпленькое местечко... на ступенях храма...»

«Кто это, они?»

«Ну, эти... борцы, в рот их».

«Может быть, я вернусь», — сказал я.

Профессор внимательно, с поехавшими кверху бровями, посмотрел на меня.

«У меня есть знакомый психиатр, — промолвил он. — Очень вдумчивый специалист. Могу сосватать».

Теперь я видел, что женщина в углу почти неотрывно смотрит на меня.

Профессор бормотал:

«Вернусь, ха-ха, он собрался возвращаться. Там всё отравлено. Там запах лагеря, как запах сортира. И вообще, что это за тема для душевного разговора... Меня политика не интересует. Плевать мне на патриотизм. Мы, рядовые граждане, заинтересованы только в одном: в стабильности и общественном порядке. И в благосостоянии населения! Родина там, где хорошо подают. Но ты не ответил на мой вопрос».

«Я получаю зарплату», — сказал я.

«Какого же хрена, спрашивается, ты торчишь на улице, отнимаешь хлеб у настоящих нищих, что это за маскарад...»

«Дядя, я тоже настоящий». Я встал и направился к даме в углу.

V

Профессор заявил, что он тоже человек пишущий.

«Говорю так, чтобы не употреблять слово писатель, загаженное в нашем протитуированном обществе... А вы, случайно, не представлятельница этой профессии?»

Я вмешался: «Ты хочешь сказать, писательница?»

«Гм. Моя мысль, собственно, была другая...»

«Вам придётся извинить его, сами понимаете, возраст...»

«Кто здесь говорит о возрасте? Мы ещё поживём! Впрочем, неизвестно, кто из нас моложе... Позвольте представиться», — сказал дядя, приосанившись, держа пенсне, как бабочку, двумя пальцами.

«Нет необходимости. Профессор социологии. Я его племянник... А это Мария Фёдоровна».

«О! так звали, если не ошибаюсь, вдовствующую императрицу. Разрешите вас называть Машей?»

«Мой дядюшка, — пояснил я, понизив голос, — потомок одного из древнейших родов России. Из старой эмиграции...»

«X-гм. Старая эмиграция... да, да... Какие люди, какие умы. Мы тут беседовали о литературе. Герр обер!..»

Официант принёс ещё один прибор. Профессор насадил пенсне на нос.

«Так вот, насчёт литературы... Я, знаете ли, работаю над мемуарами. *Noblesse oblige!*¹ Помню, государь сказал мне однажды на приёме в Зимнем: ты, князь, слушай и всё запоминай. Когда-нибудь обо всех нас напишешь... Он уже тогда предчувствовал, что его ожидает».

«Но ведь это же было очень давно», — возразила гостья.

«Да, моя девочка, это было давно».

«Сколько же вам было тогда лет?»

Я разлил вино по бокалам.

«Может, не надо, — сказала она. — А то ещё запьянею».

Я осведомился о её спутнике.

«Это тот, который...? Если память мне не изменяет... В мюллеровских банях?» — пролепетал профессор.

«Я его знать не знаю. Пристал на улице».

Выяснилось, что она со вчерашнего дня ничего не ела.

«Короче говоря, слинял. Хамство, — констатировал профессор. Даже если он не воспользовался твоим, э-э... гостеприимством. Но ничего. Мы с ним потолкуем. Мы его найдём».

По мере того, как темнело снаружи, «локаль» наполнялся голосами, взад-вперёд сновали официанты, теперь их стало трое, появились завсегдатаи, ввалилась компания немолодых пузатых мужиков и вызывающе одетых женщин. Кельнер шёл к нам со счётом.

«Мы не торопимся, — сказал профессор. — Ещё не всё обсудили».

«Можно обсудить в другом месте», — заметил кельнер.

Он положил на стол счёт, профессор смахнул листок со стола, снял пенсне и осмотрел кельнера.

«Пошли отсюда, дядя», — сказал я по-русски.

«Знаете ли вы, что он сказал? — спросил, перейдя на “вы”, профессор. — Он сказал, что побывал во многих странах. Но нигде ещё не сталкивался с таким хамским обращением».

«Врёшь», — сказал кельнер.

«Что? Повтори, я не расслышал».

«Он тебе два слова сказал, а ты переводишь как целую фразу».

¹ Знатность обязывает (фр.).

«А известно ли тебе, — сопя, сказал профессор, — что русский язык обладает краткостью, с которой может сравниться только латынь? Я попрошу уважать русский язык!»

Подошёл хозяин заведения — или кто он там был, — скопческого вида, с длинным унылым лицом, мало похожий на трактирщика, почему-то в длинном пальто и в шляпе.

Профессор насадил стёкла на утиный нос.

«Я запрещаю издеваться над моим родным языком».

«Да успокойся ты, никто не издевается. Вот, — сказал официант, садясь на корточки, — не хотят платить». Он добыл из-под стола бумагу, протянул хозяину, тот взглянул на счёт, потом на меня, Марию Фёдоровну и, наконец, на профессора.

«Я этого не говорил, — возразил профессор и повёл носом, словно призывал окружающих быть свидетелями. — Но ещё вопрос, за что платить!»

Я вынул кошелёк, дядя величественным жестом отвёл мою руку.

Хозяин кафе сказал:

«Я тебя знаю. И полиция тебя знает».

«Вполне возможно, — отвечал профессор. — Я человек известный».

«Вот именно, — возразил хозяин. По-видимому, он что-то соображал. Потом произнёс с сильным акцентом: — Если ты, сука, немедленно не...»

«О, — сказал дядя, — что я слышу. Диалект отцов. Язык родных осин! Но тем лучше. Нам легче будет объясниться. Так вот. Пошёл ты... знаешь куда?»

«Нет, не знаю», — сказал хозяин.

«К солёной маме! — взвизгнул профессор. — Можете звать полицию», — сказал он самодовольно.

В погребе зажглись огни, словно здесь готовилось тайное празднество, синеватый свет вспыхнул на бокалах, на украшениях женщин, бросил на лица лунный отблеск. Воцарилось молчание. Астральный нимб окружил чело оккультного профессора, а физиономия хозяина приняла трупный оттенок. Кельнер направился было к телефону, владелец заведения остановил его.

«Сами управимся».

И тотчас в зале появился, к моему немалому удивлению, персонаж, о котором уже упоминалось на этих страницах. Широко расставляя ноги, развесив ручки, двинулся к нам.

Фраппирован был и мой друг профессор.

«Дёма! — проговорил он. — И тебе не стыдно?.. Позвольте, это мой человек. Он у меня работает».

«У нас тоже», — сказал кельнер. Хозяин не удостоил профессора ответом и лишь кивнул в нашу сторону. Человек-орангутанг схватил дядю за шиворот.

«Дёма, что происходит? Ты меня не узнаёшь?.. Имейте в виду, коллега — известный журналист, он сделает этот случай достоянием общественности. Он вас разорит!» — кричал профессор. Никто уже не обращал на нас внимания.

«Кстати, чуть не забыл... — пробормотал профессор, счищая грязь с брюк. Шёл дождь, и он поскользнулся, вылетая из подвального. — Ты лицензию получил? Я освобождаю тебя от налога. А с этой образиной мы ещё разберёмся».

VI

Вопреки предположению моего друга и покровителя, я не только не пишу романов, но не питаю интереса к этому роду искусства, во всяком случае, к изделиям нынешних романистов. И уж тем более к тому, что пишется в России. Может быть, я согласился бы кое-что прочитать, если бы мне за это заплатили. Хочу сказать о другом. Революция нравов лишила литературу её наследственных владений. Никого больше не соблазняют многостраничные повествования о любви, ушли в прошлое истории встреч, надежд, узнавания, сближения, всё то, что должно было понемногу разжечь любопытство читателя, — вплоть до решающей минуты, когда дверь спальни захлопывалась перед его носом. Спрашивается, оттого ли у современных писателей всё совершается так скоропалительно, что упростились современные нравы, — или нравы упростились оттого, что литературу перестали интересовать околичности, не имеющие отношения к «делу».

Я уже рассказал коротко о знакомстве с женщиной по имени Марья Фёдоровна. Стоит ли называть это «романом»? Я был одинок, она была одна. Совместима ли платная любовь с чувствами? Могу сказать только, что меня повлекло к ней не только то, что составляет цель подобных сближений. Какая-то инерция побудила меня продолжать путь рядом с ней. И если уж говорить о «чувствах», то это было скорее чувство продолжения старого разговора. Возможно, мы в самом деле виделись где-то — ведь мир тесен для кучки изгнанников.

Что-то такое мелькнуло у меня в голове — обманчивая мысль, — когда я сидел с профессором и чувствовал на себе её взгляд. Именно о таких, не слишком речистых, притворно-скромных, не привлекающих взоры, начинаешь думать — а ведь я её уже встречал. Я люблю смотреть на женщин, мой уличный промысел предоставляет для этого наилучшие условия. Я привык созерцать женщин снизу вверх — ракурс фотографа и нищего, — но если вообразить, что какая-нибудь остановилась бы и спросила, в чём дело, не желаешь ли прогуляться со мной? Я бы не торопился бежать следом за ней. Видела ли меня когда-нибудь Маша на улице? Она никогда об этом не говорила.

Расставшись с «дядей», шагая неторопливо под фонарями, мы чувствовали себя не то чтобы вполне à l'aise¹, но и особой неловкости я тоже не ощущал. Незначительность разговора удостоверяла, что мы узнали друг друга. Разумеется, она думала, — хотя речи об этом не шло, — что я пошёл с ней «по делу». Она не задавала вопросов, я тоже ни о чём её не расспрашивал, я не интересовался её прошлым, какое прошлое может быть у таких женщин? Подошли к дверям (она предупредила меня, что мы незнакомы друг с другом).

Нетрудно было догадаться, что это за обитель. Сверху или из подвала, понять это в доме, состоящем из фанерных перегородок, было невозможно, громыхала дешёвая музыка. Грязноватый холл обклеен объявлениями, утыкан записочками на кнопках. Вам предлагали всё на свете, книги, уроки бальных танцев, шифоньер фанерованный, коллекцию жуков, лечебные вериги, экскурсии, кто-то скромно предлагал себя, чтобы не тратиться на объявление в бюро одиноких сердец. Лифт застрял наверху. Пешком взобрались на последний этаж.

Должно быть, мне всё-таки следует вернуться к её наружности: Марья Фёдоровна, как я уже дал понять, была женщина, не ослеплявшая взора. Станным образом — я заметил это ещё в кафе — она не была даже накрашена. О её фигуре невозможно было сказать ничего определённого до тех пор, пока она не предстала перед гостем в домашнем одеянии, слегка подчеркнувшем бёдра и грудь. Кажется, под халатом ничего не было. Возраст? Пожалуй, ближе к сорока, чем к тридцати, возраст, когда к вечеру молодеют, в полночь становятся двадцатилетней, а на рассвете пятидесятилетней. Впрочем, едва ли она проводила свои ночи где-нибудь за пределами этого общежития.

¹ Непринужденно (фр.).

Возраст между старой и новой надеждой, возраст исхода и шествия по синайским пескам. Разве наша страна не была Египтом? Но где же Ханаан? Годы идут, на горизонте обманчивая водная гладь, ни облачка, палящее солнце над головой и зябкие ночи в дырявых шатрах. Квартирка, по-женски аккуратная, называемая «апартамент», состояла из кухни и комнаты; в нише за занавеской устроен альков.

Мы успели перекусить, прежде чем у профессора состоялся диспут с хозяином заведения, теперь можно не бояться захмелеть, сказал я Маше и откупорил бутылку. Кажется, она поняла меня иначе, отважно взялась за стакан. Снизу — или с потолка — раздавалось уханье музыкальной турбины. Я обвёл глазами комнату: этажерка, комод; а это кто, спросил я.

«Сын».

«Он живёт с вами... с тобой?»

Марья Фёдоровна покачала головой.

На мой вопрос: остался там? почему?.. — она криво усмехнулась, пожала плечами.

«А твои гости, — сказал я. — Они тоже сюда приходят?»

«Куда же ещё».

«Комендант не возражает?»

Согласен, я вёл себя бестактно. Бог знает почему меня интересовали эти подробности.

«Этот человек, с которым ты сидела...»

«Я по улицам не шатаюсь. Просто случайно остановилась. Вам, наверное, завтра на работу», — проговорила она после некоторого молчания, не решаясь или не пожелав говорить мне «ты». Возможно, это был косвенный ответ на вопрос о коменданте. Я подлил ей и себе, она не отрывала глаз от своего стакана, между тем как её пальцы слегка ослабили поясok халата. И по-прежнему неустанно в стены фанерного ковчега вбивала гвозди музыкальная машина.

Женщина встала, отдернула занавеску, включила светильник над кроватью, потушила верхний свет...

«Вам как лучше: чтобы горело или...?»

«Фонарь любви», — сказал я, не решаясь подняться. Какая-то неуместная робость овладела мной и, думаю, ею. Но тут произошло нечто неожиданное и чудесное: ни с того ни сего музыка смолкла. И стало так хорошо, как было когда-то в мире. Открыв рот, я озираясь, словно не верил этой удаче.

В одиннадцать выключают, объяснила она.

И из недр этой блаженной тишины до нас донёлся храп. Я снова налил себе, она присела на краешек стула. «Может быть, — сказала она осторожно, — не надо столько пить...»

Она добавила, опустив глаза:

«Вы, видно, не в настроении, передумали, что ль?»

Я сказал: «У тебя там кто-то есть».

«Она спит. Не обращайтесь внимания».

Оказалось, что там была ещё одна, тёмная комнатуха; я принял её за кладовку. Марья Фёдоровна заглянула на минуту в закуток.

«Она не мешает».

Храп, временами задыхающийся, прерывал то и дело наш едва тлеющий разговор. Я сказал:

«Это оттого, что она лежит на спине».

«Она всегда лежит на спине».

«Это ваша мама?» Всё время мешались эти «ты» и «вы».

«Бабушка. Ей восемьдесят восемь. Она меня воспитала. Единственный человек, который согласился с нами поехать».

«С кем это, с вами?»

«Со мной и с мужем».

«Я не знал, что ты замужем».

«Была».

«А сын?»

«Я вам уже сказала. У него своя жизнь... Я вам не нравлюсь?»

Теперь халат был раскрыт, она задумчиво гладила себя по груди и животу.

«Здесь говорят: чем позже вечер, тем красивей хозяйка... Маша, — пробормотал я. Вино начинало на меня действовать. — Ты разрешишь мне тебя так называть?»

«А тебя как?»

«Меня? — Я усмехнулся. — Никак. Имена ненавистны!»

«Чего?»

«Пожалуйста, тут нет никакой тайны», — сказал я и назвал себя.

«Тебе приходится бывать у женщин?»

«Иногда, — сказал я. — Мне как-то их всегда жаль...»

«Зачем мне твоя жалость», — возразила она.

Ночь в оазисе, полосатые пески, тёмные бугры стариков-верблюдов и нагая иудейка на пороге шатра.

VII

Время подпирало; предупредив моего товарища, что я не приду в редакцию, я отправился в путь. Одна пересадка, другая. Тут я услышал, стоя на платформе, голос по радио, по какой-то причине поезд задерживается на двадцать минут, пассажирам предлагают воспользоваться автобусом. Объявление было повторено несколько раз, прежде чем я опомнился, бросился к эскалатору и, выехав наверх, увидел, что автобус отходит от остановки. Подошёл следующий; водитель советовал ехать не конца маршрута, а до ближайшей станции метро, хотя это была другая линия. Но и там пришлось долго ждать поезда. Выйдя из-под земли, я подумал, что все линии континента связаны между собой, — а ведь мы находились как-никак на одном континенте, — и тут только мне стукнуло в голову: я еду к больному с пустыми руками. Необъяснимая забывчивость, — накануне я приготовил подарок. Возвращаться было бессмысленно. Я очутился на площади, похожей на площадь бывшей Калужской заставы; перед остановками толпился народ, мимо, разбрызгивая лужи, неслись машины с включёнными фарами. Всё смешалось, люди подбегали со всех сторон, расталкивали друг друга и втискивались в подкативший, старый и забрызганный грязью экипаж. Сквозь мутные стёкла ничего невозможно было разобрать.

Пытаясь сообразить, что к чему, я вспомнил, что жена не знает о моём приезде, я могу её не застать. Кроме того, я вспомнил, что её нет в живых вот уже три года, — правда, известие могло быть ложным. Не мешало удостовериться. Причём же тут профессор? Ведь на самом деле я ехал в больницу, где он каким-то образом оказался, и даже приготовил для него подарок. Но если мой друг профессор мог ещё кое-как примириться с тем, что я пришёл с пустыми руками, — и в конце концов, наплевать мне было на профессора, — то она, конечно, будет обижена. Все эти мысли, как черви в банки, шевелились и сплетались в моей голове.

Между тем автобус, урча и сотрясаясь, кружил по тусклым улицам, нёсся мимо заброшенных, почернелых зданий. Ещё недавно здесь бушевали пожары. Где-то на горизонте, едва различимый на жёлтой полосе заката, начинался новый район. Моя жена переехала вскоре после моего отъезда, главным образом из-за того, что весь дом узнал о случившемся. Соседи пылали патриотическим возмущением. А здесь была пустыня безликих корпусов и безы-

мянных жителей. Лифт не работал. Добравшись до нужного этажа, со стучащим сердцем, я разглядел в полутьме табличку — там стояла моя фамилия. И поднёс палец к пуговке.

Звонок продребезжал в квартире, никто не отозвался, я нажал ещё раз, послышался шорох, скрип половиц. Звякнула цепочка. «Слава Богу, — сказал я, входя в комнату следом за ней, — всё неправда».

«Что неправда?»

«Всё! Ложный слух».

Она посмотрела на меня, — оказалось, что она несколько не изменилась, разве только стала ещё бледней. Посмотрела, как мне почудилось, с холодным удивлением:

«Что же я, по-твоему, должна была умереть?»

«Я не в этом смысле... просто я получил сообщение. Не стоит об этом».

«Ты почему-то думаешь, что без тебя тут всё рухнуло. Это ты умер, а не я!»

«Катя, — сказал я жалобно, — я только успел войти. И мы уже начинаем ссориться...»

«Никто не начинает. Это ты начинаешь; твоя обычная манера. Как ты вообще здесь очутился?»

Я пожал плечами, попытался улыбнуться. «Извини... я без цветов, без подарка. Приготовил и, понимаешь, забыл».

«Мне твои подарки не нужны. Это что, — спросила она, — теперь разрешается? Я хочу сказать, таким, как ты. Надолго?»

Я окинул глазами убогую мебель, голые стены.

«Вот ты как теперь живёшь. Одна?»

«А это, милый мой, тебя не касается... Ты не ответил».

Я сказал: «Зависит от тебя».

Хотя она понимала, что я имею в виду, но спросила:

«Что значит, от меня?»

«Я приехал за тобой».

«За мной. Ага. Как трогательно. Ты приехал за мной. Вспомнил...»

«Ты прекрасно знаешь, что я не мог тебе писать».

«Если бы хотел, нашёл способ. А вот я хочу тебя спросить. О чём же ты тогда думал?»

«Катя, ты прекрасно помнишь...»

Она перебила меня:

«Ничего я не помню. И не хочу вспоминать. Уходи».

Мне не предложили сесть, мы так и стояли посреди комнаты.

«Катя, — сказал я. — Ты же помнишь, как всё было. Надо было выбирать: или — или... А ты не хотела ехать».

«Конечно. Что мне там делать?»

«Если бы ты меня любила, ты бы поехала».

«Если бы ты меня любил, ты бы меня не бросил».

«Не будем сейчас спорить».

«А я и не спорю. Ты когда-нибудь подумал, что я тут должна была пережить?..»

Она заговорила громко и невнятно, слушать было мучительно — и оттого, что я не всё понимал, и оттого, что понимал, если не каждое слово, то по крайней мере смысл сказанного. Должно быть, она повторяла то, с чем мысленно много раз обращалась ко мне; наступил час отмщения. Зачем я явился, меня никто не звал. Она свою жизнь устроила. Между нами нет ничего общего.

Устроила, подумал я, глядя на её впалые щёки, на нищенскую обстановку её жилья.

Мне нужно было что-то ответить, да, да, лепетали мои губы, я виноват, я ужасно виноват перед тобой... И я тянул к ней руки, как будто хотел удостовериться, что вижу её наяву.

Но я в самом деле видел её наяву! Она умолкла, провела рукой по волосам.

«Катя! — сказал я, смеясь. — Ты даже не представляешь себе, ты просто не можешь себе представить — как я счастлив. Я не надеялся тебя застать. Всё у нас будет хорошо, уверяю тебя...»

Она смотрела на меня — с каким выражением? С насмешкой, почти с омерзением.

«Никто тебя не звал. Катись отсюда».

«Этого не может быть, Катя, мы когда-то друг друга любили. Ты меня гонишь?»

«Нечего тебе здесь делать».

Я решил схитрить и сказал:

«Но, знаешь, уже поздно. Мне негде ночевать...»

Вот уж этого говорить вовсе не следовало. Моя жена, прищурившись, взглянула на меня, отвела взгляд, мне показалось, что её лицо меняется. Временами я её вообще не узнавал. Я даже подумал, не ошибся ли я. Она пробормотала.

«Ах, вот оно что. Ну, мы это уладим».

Я хотел ей сказать, что не стоит беспокоиться, — очевидно, она хотела устроить меня у знакомых, — и продолжал что-то гово-

рять, но она не слушала. В углу на тумбочке стоял телефон. Она сняла трубку и дважды нервно крутанула диск. Я потёр лоб. «Может, мне лучше уйти», — пробормотал я. Всё произошло очень быстро. Моя жена — если это была она — подошла к окну и заглянула между занавесками.

«Ага, они уже тут». И тотчас раздался длинный звонок в дверь.

VIII

Я сказал: «Это недоразумение. Я думал, здесь живёт моя бывшая жена. Ошибся адресом».

Милиционер повторил своё требование. Я рылся во внутренних карманах пиджака, в плаще, в карманах брюк. Ужас случившегося дошёл до меня: я потерял портмоне — может быть, его вытащили в автобусе, — потерял свой паспорт апатрида или забыл дома вместе с подарком. Мне ничего не оставалось, как пообещать толстому человеку в шинели и блинообразной фуражке, что пришлю ему фотокопию моего документа по почте. По какой это почте, спросил он, усмехаясь, и мы вышли на лестницу, где стоял другой милиционер.

В тесном фургоне я покачивался между двумя стражами, в темноте белели их лица, блестели орлы на фуражках, отвечивали пуговицы шинелей. В зарешечённом окошке мелькали тусклые огни. Нас бросало из стороны в сторону, автомобиль гнал по ночному городу, не снижая скорости на поворотах. Всё это мне было знакомо. И я утешал себя тем, что это была всё-таки милиция, а не другое учреждение. В конце концов, это их право: человек без документов, удостоверяющих личность, подержат и отпустят. Гораздо больше меня угнетал разговор с моей женой.

Я продолжал себя уговаривать и тогда, когда меня втолкнули в комнатёнку без окон и обхлопали со всех сторон, после чего было велено раздеться догола. Необходимая формальность, ничего не поделаешь. Я стоял на каменном полу под холодным душем. Вошёл человек в белом халате поверх милицейской формы, с машинкой для стрижки волос.

Но когда, сунув ноги в ботинки, придерживая брюки, я прошествовал по коридору и сел на указанное мне место перед яркой лампой, которая отражалась вместе с моей голой головой, с неузнаваемой физиономией в чёрном оконном стекле, — когда я уселся, вернее, когда меня усадили боком к столу, над которым, как водит-

ся, висел чей-то портрет, — дверь неслышно отворилась, милицкий чин, пожилой лысый мужик, собравшийся составлять протокол, вскочил, чтобы уступить место вошедшему человеку в штатском, молодому, с лицом, по которому словно прошлись утюгом. Человек сел. Без документов, сказал капитан милиции. Плоский человек кивнул и сделал знак капитану оставить нас вдвоём.

Он спросил, чем я занимаюсь.

Я ответил: собираю подаяние перед церковью святого Непомука. Что это за святой такой, поинтересовался он, побарабанил пальцами по столу и поглядел в окно.

Как ни странно, разговор, который занял, вероятно, не больше получаса, — циферблат на стене показывал без четверти два, я взглянул на свои часы, собираясь перевести стрелки, но вспомнил, что часы у меня отобрали вместе с брючным ремнём, шнурками от ботинок и ключами от моей квартиры, подумал, что на самом деле время не такое позднее, хотя что значит «на самом деле»? — на самом деле я сидел перед окном, выходящим во двор, — можно было разглядеть и решётку снаружи, — в городе, откуда я никуда не уезжал, где только что виделся с Катей и по-прежнему надеялся, что все наши ссоры в конце концов завершатся примирением, вот что было на самом деле, а того, другого города, и профессора, и Марьи Фёдоровны никогда не существовало, — так вот, если вернуться к моей мысли, как это ни покажется странным, разговор с человеком, у которого не было лица, окончательно меня успокоил: именно так он должен был выглядеть, скучающим, насторожённо-рассеянным, загадочно-непроницаемым, как требовала его должность; в сущности, он не питал ко мне дурных чувств, таковы были «инструкции», другими словами, вступила в свои права рутинная; всё было чем-то предписанным, подобно придворному этикету или дипломатическому протоколу. Все действовали как по уговору.

Мне хотелось сказать этому сотруднику или кем он там был: какое, в сущности, благо эти условности, этот ни от кого не зависящий порядок, всё то, что по-русски выражается словами «положено» и «не положено».

Ведь если бы не инструкции, он мог бы просто, не торопясь, играючи, вынуть оружие из невидимой кобуры под мышкой и пристрелить арестанта, — люди с такими лицами на всё способны.

«Значит, говорите, милостыню собираете. Чего ж так?»

Я пожал плечами.

«Поэтому и решили вернуться на родину».

«Не то чтобы вернуться...»

Он перебил меня: «А вам не кажется, что вы... — и снова побарабанил пальцами, — своим поведением родину, народ, всю нашу нацию позорите?»

Чем это я позорю, спросил я.

«А вот этим самым. Сидите у всех на виду и канючите. И небось в каких-нибудь лохмотьях».

Этот вопрос или, лучше сказать, постановка вопроса заинтересовала меня, я возразил, причём тут родина, о какой родине он говорит.

«Родина у нас, между прочим, одна!»

Я согласился, что одна.

«Так вот, у нас есть другие сведения».

Другие, какие же?

«У нас есть сведения, что всё это — маскировка».

Что он имеет в виду?

«То, что ты сидишь на паперти и поёшь Лазаря. (Тут следователь, как и полагалось, перешёл на «ты».) А на самом деле занимаешься подрывной работой. Листовки печатаешь, организовал подпольную типографию».

Не листовки, а журнал. И почему же подпольный?

Человек поднялся, вышел из-за стола и воздвигся над сидящим. Потому что и я, тот, кто сидел перед лампой и отражением в чёрном стекле, был не я, а персонаж инструкций.

«Ты дурочку-то из себя не строй, — проговорил он. — А если не понимаешь, о чём речь, то я тебе объясню...»

Он добавил:

«Чем вы там развлекаетесь, мы прекрасно знаем».

Мне хотелось возразить: знаете, да не всё. Например, что существует инстинкт нищенства, тайный голос, который зовёт.

Мне хотелось сказать, что нет, не призрак — город с башнями и церквями, с широкими чистыми улицами; а вот то, что я нахожусь здесь, — поистине наваждение, морок, зажмуришься, потом откроешь глаза, и ничего нет. Я сидел перед лампой, а он расхаживал в тени, взад-вперёд.

«Заруби себе на носу: мы всех вас знаем. Каждое слово, каждый шаг, что вы замышляете, куда ездите, откуда деньги берёте, всё знаем... А вот ты мне лучше скажи. — Он остановился. — Просто так, не для протокола... Человек, который бросил свою

старую, больную мать и укатил за тридевять земель, как его можно оценивать? А что можно сказать о людях, которые оставили родину?»

«Да ладно, — он махнул рукой, — я знаю, что ты хочешь сказать. Свобода выше родины — да? Слышали мы эти песни... А чего стоит так называемая свобода без родины? Или, может, ты начнёшь рассказывать, что у тебя не было другого выхода, дескать, пришлось выбирать: или на Запад, или... — и он ткнул большим пальцем через плечо. — А откуда ты знаешь, что тебя собирались арестовать, тебе что, так прямо и объявили?.. Может, поговорили бы, вправили мозги и отпустили?»

Вошёл капитан.

«Верни ему барахло. Он мне не нужен. И отвези его... — крикнул он в дверь, — чтобы его духу здесь больше не было!»

«Ясно? — спросил, когда мы снова остались одни, человек за столом. — Ещё раз приедешь, пеняй на себя».

IX

«Так прямо и сказал: пеняй на себя?»

«Так и сказал».

«Я что-то не пойму. Ты в самом деле там был или...?»

«Я сам не знаю, Маша».

Пора вставать, идти на работу. Я лежал, закрыв глаза, чтобы не видеть комнату. Рассвет не пробуждает во мне бодрых чувств, и это утро, конечно, не было исключением.

Она уже поднялась, что-то делала, ходила по комнате. Занятая своими мыслями, присела на край кровати.

«Ты, наверное, думаешь, что я так со всеми. Скажи правду».

«Да, — сказал я. — Думаю».

«Но ведь можно совершенно ничего не чувствовать...»

«Вот как?» — откликнулся не я, откликнулись мои губы. Мои мысли были далеко.

«Я всё брошу», — проговорила она.

«Вот как».

«Я о тебе ничего не знаю. Ты мне ничего не рассказываешь...»

«Что рассказывать?»

«Где ты работаешь».

«Где работаю... В редакции. Мы издаём журнал, разные брошюры».

Я сел в постели, Марья Фёдоровна встала. По-прежнему храп за занавеской.

«Ей надо сменить пелёнки. Я сейчас её разбуджу, буду кормить».

Она добавила:

«Отвернись к стенке, не могу же я одеваться при постороннем мужчине».

«Но тебе приходится одеваться при посторонних».

«Я никого на ночь не оставляю».

«Для меня, стало быть, сделано исключение?»

«Не надо», — попросила она.

О, Господи: музыка. Внизу заработала турбина. Застучали ножами, заскребли грязными когтями по стеклу. Нагло-визгливый голос разнёсся по всему ковчегу. Я стоял одетый посреди комнаты, нужно было что-то сказать ей. Всё моё существо рвалось вон отсюда.

«Куда же ты, без завтрака...» Я возразил, что спешу.

«Мы увидимся?»

«В чём дело?» — спросил я.

«Не обращай внимания». Марья Фёдоровна вытерла слёзы или мне так показалось. Я оглядел её, она запахла плотней, подтянула поясок халата.

«Мы что-нибудь придумаем, — сказал я быстро. — Найдём тебе какую-нибудь работёнку. Как насчёт того, чтобы убирать нашу контору? Хотя, конечно, заработок не очень...»

Отдуваясь, я влетел к себе домой (квартира Маши казалась роскошной в сравнении с моей берлогой) и спустя немного времени плёлся, что-то дожёвывая на ходу, в рабочей одежде, с полиэтиленовым мешком и бутылкой, в грибовидной табачной шляпе. Свернул в переулок, который упирается в церковь, — так и есть: кто-то уже расселся на ступенях.

Он приветственно помахал мне, это был Вивальди. Кстати, я до сих пор не знаю: кто он был, откуда? Говорил без акцента, но чувствовалось что-то нерусское, а когда пользовался местным наречием, слышались русские интонации. Я думаю, что процент людей ниоткуда постепенно возрастает в мире.

«А ты, говорят, пошёл в гору. Лучший друг профессора».

«Вали отсюда».

«Ну, ну, вежливость — прежде всего».

«Отваливай, говорю», — сказал я, расстилая коврик.

«Я тебе мешаю?»

«Мешаешь».

«Но ведь и ты мне мешаешь».

«Бог вас вознаградит», — сказал я вслед старухе, которая сзади могла сойти за девушку. Будь я художник, я бы писал женщин со спины.

«Вот видишь, — заметил Вивальди, — тебе бросила, не мне».

«Не доводи меня до крайности».

«Только успел заступить на вахту, и уже... Хлебное местечко отхватил, ничего не скажешь».

«Я повторяю, не доводи меня до крайности. Вон место освободилось. Уже целую неделю пустует. Можешь сесть там...»

«Ты разрешаешь? — возразил он иронически. — Тихо, вон одна остановилась, о-о. Одни бёдра чего стоят. К нам идёт... Наверняка даст. Милостыню, конечно, а ты что думал?»

«Благослови вас Бог».

«Дай-ка мне хлебнуть... Ну что ты скажешь, опять тебе бросила».

Несколько времени спустя к нам приблизился блюститель закона.

«Здорово, дядя», — сказал Вальдемар.

«Вы что, теперь вдвоём?»

«Что поделаешь, герр полицист. Конкуренция большая, а посадочных мест мало!»

«Да, много вас развелось», — ответствовал полицейский и зашагал дальше.

«Тоже мне работа — груши членом околачивать, — заметил Вальдемар. — Вот так лет двадцать ходит, глядишь, пенсия выросла. А мы?.. — Он вздохнул. — Я читал бюллетень. За истекший отчётный период подаваемость снизилась».

«Какой бюллетень?»

«Есть такой. Надо читать прессу!»

Он добавил:

«И паханá навестить надо».

Я пропустил эти слова мимо ушей. Вальди приложился к бутылке, утёр губы ладонью. «Навестить, говорю!»

«Кого?»

«Старого пердуна, кого же».

Я спросил, что случилось.

«Весь город знает, ты один не знаешь. Он в больнице... в травматологии».

Оказалось, что профессора сбила машина. То, что наш принципал сидел на игле, не было для меня новостью. Но «штоф», как объяснил Вальди, тут ни при чём: старик самым вульгарным образом был пьян в стельку.

«А ты, между прочим, как насчёт этого дела?»

Я спросил, какого дела.

«Насчёт штофа, едрёна мать».

«Пробовал», — сказал я.

«Ну и как?»

Я вздохнул, пожал плечами.

«Могу пособить, если надо», — сказал Вивальди.

Он добавил:

«Цена обычная».

«Буду иметь в виду», — сказал я. И так, это случилось вчера вечером. Пока мы лежали в шатре под синайскими звёздами. Странное смещение времени. Я смутно помнил, что уже направлялся однажды к нему в больницу.

«Давно?» — спросил я.

«Что давно?»

«Давно он там?»

«Кстати, — промолвил Вивальди, глядя вдаль. — Что я хотел сказать. Я его замещаю. Нет, ты только взгляни: какая ж... Какая ж...!» — воскликнул он.

«То есть как замещаю?»

«Очень просто. Тариф прежний — двадцать пять процентов. Порядок есть порядок. Эх, старость не радость», — сказал он, бодро вставая, подтянул штаны и пропал за углом.

Высокие двери раскрылись за моей спиной, и я услышал скрежет органа.

Х

Думаю, что Клим охотно избавился бы от моего присутствия, если бы не нужда в переводчике. То, что можно было назвать внешней политикой журнала, находилось всецело в его руках. Мне неизвестны примеры из эмигрантской жизни, когда бы славные принципы равноправия, демократии, терпимости к

чужому мнению, всё то, что мы проповедовали, применялось на практике. Дым, а также нравы нашего отечества мы привезли с собой.

Иногда я думал о том, что все наши старания тщетны, журнал никому не нужен, эту страну не переделаешь, — и мне становилось жаль моего бедного товарища. Отчего люди, одержимые верой, вызывают у меня сострадание? Поглощённый вызволением родины из оков деспотизма, мой коллега и работодатель не имел времени выучить язык изгнания. Чужой язык заведомо не заслуживал усилий, которые надо было потратить для его освоения. Эти усилия были в глазах Клима чем-то непатриотичным.

Дорóгой мы говорили о предстоящем визите, точнее, говорил Клим. Он придавал этому знакомству большое значение. *Pater familias*, южный барон с четырёхсотлетней родословной, был важной шишкой, председателем чего-то, вращался в консервативных кругах и пописывал в газетах. Супруга нигде не состояла, но была ещё влиятельней. Мы рассчитывали на субсидии.

Сойдя на безлюдной платформе, побродили по чистеньким тенистым улицам пригородного посёлка, оставалось ещё добрых полчаса; в назначенное время позвонили у калитки. Усадьба была защищена зелёной стеной бересклета. Никто не отозвался. Клим нажал ещё раз на кнопку. Кажется, о нас забыли. Наконец, микрофон ожил, послышалось что-то вроде шуршанья бумаги. Женский голос спросил, кого надо. Должно быть, прислуга или кто там у них.

«Это я... мы», — сказал Клим, и я перевёл его ответ.

Калитка отщёлкнулась, навстречу бежал огромный волосатый пёс, махая пушистым хвостом. Прошли по аллее, вступили на крыльцо. Дверь, над которой висели развесистые олени рога, была приоткрыта. Из внутренних покоев, изображая сдержанное радушие, вышла хозяйка дома.

«Бога-а-тенькие», — промурлыкал, озираясь, мой коллега. Мы очутились одни в просторной гостиной. Вероятно, нам давали время освоиться. Затем хозяйка, в чём-то шёлковом, шелестящем и переливчатом, внесла поднос с кофейником, чашками и печеньем, это была бледная, субтильная женщина, по виду не меньше сорока, такие женщины никогда не выглядят юными, но и не стареют; с лицом не то чтобы красивым, но каким-то слишком уж характерным. Густые, янтарного цвета волосы, полукруглые брови, прямой костистый нос, тонкие губы, впалые щёки, отчего лицо казалось немного скуластым, узкий раздвоённый подбородок; ей не

хватало только круглого шарообразного чепца. Никакой косметики. Домашний капот, достаточно нарядный, всё же означал, что гостям не придают большого веса, во всяком случае, визит не считается официальным.

Вскоре появился барон, дородный господин средних лет с грубым мужицким лицом. Одет в короткие штаны, гетры и народную, по-видимому, очень дорогую куртку. Заметив, что Клим поглядывает по сторонам, он подвёл нас к висевшей на видном месте картине под стеклом: развесистое древо на фоне архаического пейзажа — дуб короля Генриха Птицелова или ясень Иггдрасил. На ветвях вместо птиц и животных висели щиты с гербами и коронами.

«Да, так вот. Гм!» — сказал барон, извлекая пробку из бутылки.

«Превосходный коньяк», — сказал Клим, и я перевёл его слова.

«Вы так полагаете? Я тоже, м-да... Ещё глоток?»

«Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию в Кремле?» — разливая кофе, спросила хозяйка.

Я перевёл:

«Её интересуют эти старые жопы в Кремле».

Клим обрадовался случаю продемонстрировать свою осведомлённость. Барон усердно подливал, не забывал и себя, и постепенно багровел; Клим, напротив, становился всё бледнее, он говорил без умолку, глаза его сверкали. Хозяин сопел, кивал, поднимал и опускал брови. Я не попевал за моим товарищем, а потом и вовсе умолк; было ясно, что если что-нибудь здесь имеет значение, то не речи, а только факт того, что мы здесь сидим.

Барон потрепал лохматого пса, лежавшего у его ног. Пёс, обладатель не менее славной родословной, умильно смотрел на барона.

«Мне приходилось бывать в России. Это огромная страна».

Пёс переменял позу. Барон помешивал ложечкой кофе.

Клим сказал, что последние события с особой убедительностью говорят о том, что свободному миру необходимо пересмотреть некоторые сложившиеся стереотипы. В частности...

Пёс забеспокоился, хозяин поднял брови:

«В чём дело, ты другого мнения?.. Вы правы, — сказал он. — Если не ошибаюсь, от Москвы до Урала пять тысяч километров!»

Запад слишком наивен, возразил Клим, если принимает на веру все эти заявления. Пора, наконец, понять, что...

«Страна с большим будущим. Непременно уговорю мою жену снова поехать. Что ты на это скажешь, Schatz?»¹»

«Вы тут побеседуйте, — сказала хозяйка, — а мне надо сказать два слова господину, э...»

Теперь инициативу захватил южный барон. Он подвинул Климу, продолжая рассказывать, коробку с сигарами.

Хозяйка поднялась и направилась в соседнюю комнату, она шла маленькими шажками, как гейша, слегка покачивая бёдрами. Я поплёлся следом за ней. Мы прошли через столовую мимо низких резных шкафов с фарфором и хрусталём и оказались на кухне, почти такой же поместительной, как гостиная, откуда сейчас раздавалось нестройное пение: это хозяин и Клим исполняли русскую народную песню «Широка страна моя родная».

Баронесса остановилась в дверях.

«Знаете вы эту песню, о чём она?»

«Да, это национальный гимн, он очень древний».

«Древнее, чем царский гимн?»

«Пожалуй».

«О чём же он? Вероятно, о том, какая у вас замечательная страна?»

«Само собой».

«Но ведь она в самом деле замечательная, не так ли?»

«Кто в этом сомневается».

«Приятная мелодия, только они ужасно фальшивят... А я думала, — сказала хозяйка, — что это советская песня».

«Советская власть гораздо старше, чем думают».

До нас донёсся голос Клим:

«Наши нивы глазом не обшаришь!»

Барон вторил, вместо слов произнося какую-то абракадабру, пёс подвывал. Хозяйка притворила дверь.

Мне показалось, что она смущена и не знает, с чего начать.

«Поразительно», — сказал я. Теперь я понял, на кого она была похожа.

«Вы имеете в виду...?» Она усмехнулась, чтобы скрыть, что она польщена.

Я кивнул.

«Откуда вы знаете эту картину?»

«Она известна. Дюрер. Не помню, как называется».

¹ Дорогая (нем.).

«Портрет патрицианки. Значит, вы тоже заметили... Считается, — сказала она, — что эта Эльзбет... Так её звали, Эльзбет Тухер. Считается, что я происхожу от неё, правда, по боковой линии. Она была замужней женщиной, это видно по портрету, и согрешила с художником. Так что и Дюрер будто бы мой предок. Всё это легенда. В нашем роду не было женщин с такой фамилией».

«Легенды бывают правдивей действительности».

«Бывают, это верно... Имя тоже нетрадиционное. Все мои прабабки носили имя Мария. В разных сочетаниях. Кстати, меня зовут Луиза-Света-Мария».

«Света?»

«Это какое-то славянское имя. Мне объясняли, что оно означает. Вы, вероятно, можете дать точную справку».

«За этим вы меня и позвали?»

«Нет, конечно. Вы не догадываетесь, зачем?»

«Понятия не имею».

Она вздохнула. «Вы... давно здесь? Я не знаю, как это назвать: изгнание, эмиграция?»

Я ограничился неопределённым жестом.

«Но язык, наверное, знали ещё до того».

«Знал».

«Я хотела задать вам один вопрос... Вы можете не отвечать. Только прошу вас, не сочтите за обиду моё любопытство».

«Не сочту».

«Вы не обидитесь, договорились?»

«Я вас слушаю».

«Церковь святого Иоанна Непомука... вам это имя что-нибудь говорит?»

«Он, кажется, охраняет мосты».

«Вы образованный человек. Видите ли, в чём дело. Мой кузен — пресвитер этой церкви. Да и я там бываю... иногда».

Она прислушалась, пение в гостинной умолкло.

«Ладно, пусть побеседуют».

«Это довольно трудно», — заметил я.

«Коньяк им поможет. Так вот... Простите, что я так. Я хотела спросить. Это вы там сидите? Можете мне не отвечать. Я понимаю. Жизнь на чужбине... Но неужели настолько...»

Я сказал, глядя в сторону:

«Считайте, что это моё хобби».

«Да, конечно, — сказала она. — Разумеется, — сказала Света, Марта, Мария или как там она звалась. — Я слишком хорошо понимаю ваши чувства. Вашу гордость. Хобби... Позвольте мне быть откровенной, я позвала вас не для того, чтобы удостовериться, я знала это наверняка. Сожалею, что так грубо вмешиваюсь в вашу жизнь, но раз уж... Я только очень надеюсь, что это обстоятельство, это... вынужденное обстоятельство не помешает нашему знакомству. Пожалуйста, не отвергайте с порога моё предложение. Или, вернее, мою просьбу. Я бы хотела вам помочь».

«Благодарю вас, баронесса, — сказал я, — вы очень добры. Но уверяю вас, вы заблуждаетесь. Я вовсе не...»

«Я? заблуждаюсь?.. О нет, моё сердце меня не обманывает. Пойдёмте, нас ждут».

XI

Разумеется, я постарался не придавать значения этому разговору, ни в чьей помощи я не нуждался; разговор оставил неприятный осадок: за мной подглядывали; на обратном пути в электричке я вяло и невпопад отвечал Климу, который пребывал в приподнятом настроении. Похоже было, что они с бароном пришли по вкусу друг другу.

«Ну, а реальное какое-нибудь обещание ты получил?»

«Вот увидишь, — сказал Клим. — Он богат, как Крез!»

Погода вдруг установилась отменная, настоящая золотая осень, и в одно из воскресений, вместо того, чтобы с утра облачиться в балахон и кастановую шляпу, я отправился к моему другу и покровителю. Разыскать его оказалось непростым делом, больница находилась на западной окраине города, у чёрта на рогах, наводить справки у Вивальди я не стал, не хотелось, чтобы он знал о моём визите.

Тут чуть было не произошло то, чём я уже рассказывал; я ненавижу эту линию, там всегда что-то случается; поезд задерживался на двадцать минут, несколько раз повторилось объявление, со своей ношей под мышкой я бросился к эскалатору, водитель объяснил, что лучше ехать не до конца, а до следующей станции метро. Погода стала меняться, небо посерело, окна домов отсвечивали оловом. Я чувствовал, что проклятый автобус увозит меня в потусторонний мир, и успел, слава Богу, выпрыгнуть на ближайшей остановке.

Словом, я кое-как добрался и даже попал в приёмные часы, но, войдя в вестибюль, увидел, к своей досаде, Вальдемара. «Вот, — пробормотал я, — последовал твоему совету». Он ухмыльнулся. Мы подошли к справочному окошку. Долго блуждали по коридорам, поднимались по лестницам. «Может, помочь?» — спросил Вивальди. Он нёс какой-то кулёк. Я тащил нечто более весомое.

Профессор оккультных наук лежал в светлой палате, над кроватью висел треугольник для подтягивания. Я поставил проигрыватель на столик-каталку и воткнул вилку в розетку. Наш патрон сумрачно кивнул, когда Вивальди, поглядывая по сторонам, извлёк из внутреннего кармана своё приношение, завёрнутые в бумагу ампулы, — следовало бы начертать на них мелкими буквами на целебной латыни: *raх in terra et in hominibus benevolentia*¹.

Вполголоса Вальдемар осведомился, не желает ли страдалец причаститься немедленно. Профессор покачал головой. Ампулы исчезли в тумбочке с двойным дном. Я покосился на соседей. Профессор заметил:

«Ничего, потерпят. Им тоже полезно».

Я нажал на клавишу, наступила тишина — слабый шелест пространства — короткое вступление. И два волшебных женских голоса запели:

Мать скорбящая стояла, вся в слезах, а на кресте...

Профессор, лёжа на спине, дирижировал, устремив взор в потолок.

*Dum pendebat Filius*².

Немного погодя он сделал знак остановить музыку.

Мы топтались возле кровати. Глядя в потолок, профессор заговорил:

«Смысл жизни, быть или не быть, как говорит Гамлет, тот самый, который... И вообще. Я теперь пересмотрел свой жизненный путь — всё не то, не то... О вас, говноедах, тоже, между прочим, думаю. Что будете делать без меня? Попадёте ещё кому-нибудь в лапы...»

«А что эскулапы говорят?» — спросил Вивальди.

«Чего они говорят, ничего не говорят...»

«Ползать будешь?»

¹ На земле мир и в человеках благоволение (*лат.*).

² ...висел Сын (*лат.*).

«Ползать? а что толку?.. Жил в двенадцатом веке, — сказал он, помолчав, — знаменитый учитель, богослов, как же его звали, едри его... Однажды этот богослов сидел в своей комнате и писал гусиным пером проповедь. Дело было в Париже. Вы за моей мыслью следите?»

«Стараемся».

«Сидел и писал проповедь. А сам смотрел в окно на реку Сену. На берегу сидел мальчишка лет десяти, в руках у пацана ракушка, и этой ракушкой он, значит, загребает воду. Великий богослов выходит из дому, как же ты, говорит, собираешься вычерпать реку ракушкой? А парень ему отвечает: а как же ты хочешь изъяснить словами тайну Святой Троицы?»

«Ты что-то не то понёс, папаша», — зевнув, сказал Вальдемар.

«То есть как это не то?»

«Сам говоришь: десять лет пацану. Как это он...»

«А ты дослушай, я, между прочим, ещё не кончил! Слова не дадут сказать, вечно перебивают».

Наступила пауза. Профессор смотрел в потолок.

«Чего замолчал-то?»

«А то, что надо сначала дослушать, а потом свои блядские замечания вставлять.. Распустились, суки... Это, говорит, дело такое же безнадёжное».

«Кто говорит?»

«Пацан говорит! — загремел профессор. — Устами младенца глаголет истина. И вот когда настал день и народ собрался, чтобы послушать проповедь великого богослова, он вышел, поднялся на кафедру и сказал: вот я тут перед вами. Все меня видели? Ну, и довольно с вас. И ушёл, и след простыл».

«Куда же он делся?»

«Слинял. Удалился в далёкий монастырь. И своё имя скрыл, поэтому, — сказал профессор, — и я не знаю, как его звали».

Снова помолчали, соображали, что-то надо было ему ответить. Больной пробормотал:

«Вот и я тоже думаю...»

Я спросил: включить? Он покачал головой.

«Вот и я думаю: пора, давно пора. О душе подумать надо. Пошлю вас всех к солёной маме... Надоели вы мне все, и всё мне надоело».

«Да куда ж ты денешься?» — спросил Вивальди.

«А вы куда денетесь? Попрошусь в монастырь».

«Да ведь ты, папаша, неверующий».
«Или студентом на теологический факультет».
«Я хотел вас спросить, — сказал я, — Вальди вас пока замещает...»
«Что?» — нахмурился патрон.
«Я говорю, пока вы здесь, он...»
«А кто это ему позволил? — закричал профессор. — С-суки поганые, мародёры, стоит мне только отлучиться!..»
«Без паники, ваше преподобие. Тебе волноваться вредно».
Вальдемар проворно сел на корточках, извлёк из тайника ампулу с героином, явился шприц. Вальдемар всадил иглу в бедро профессору.

ХП

Моё аристократическое знакомство имело продолжение: сняв трубку, я услышал её голос. Минуту спустя в комнату вошёл Клим. Я извинился и положил трубку. «Зайди ко мне, — сказал он. — Кто это?»

Я знал, что нам предстоит то, что он называл принципиальным разговором. Ещё меньше охоты было у меня беседовать с баронессой. Что ей понадобилось? Именно этот вопрос задал Клим.

Почему он решил, что это она?

«Не увиливай. Она, наверное, хотела поговорить со мной».

«Не думаю», — сказал я.

«Мало ли что ты думаешь. Она позвонила в редакцию, чтобы поговорить о деле».

«Позвони ей сам».

«Ты прекрасно знаешь, что это невозможно». Мы сидели в его кабинете (комнатка чуть больше моей, с картой во всю стену — родина с нами), он в своём кресле, я на стуле сбоку от стола.

«Я давно жду этого звонка. Это по поручению барона. Я думаю, он хочет мне кое-что сообщить. Что она тебе сказала?»

«Пустяки, ничего особенного».

Я смотрел на свои руки, разглядывал ногти.

«Ты сейчас позвонишь ей, — сказал Клим, беря второй микрофон, — от моего имени. Спросишь...»

Я покачал головой.

«Почему? — спросил он. Я пожал плечами. Клим подумал, процедил: — Ладно. Может быть, ты и прав, подождём ещё немного. — Я встал. — Минуточку. Сядь... Вот эта статья. Что это такое?»

В чём дело, пробормотал я.

«В чем дело? И ты ещё спрашиваешь. Да я просто не нахожу слов!»

Таково было вступление к принципиальному разговору. Увы, не первому. Полагаю, не будет неожиданностью — после всего, о чём говорилось выше, — если я скажу, что отношения наши мало-помалу достигли критической точки. Тут была в самом деле некоторая принципиальная разница, и чем дальше, тем она становилась очевиднее. Если угодно, водораздел. Наше пребывание на чужбине мой товарищ считал временным. Он не терпел слова «эмиграция». (Именно это делало его стопроцентным эмигрантом.) Мой товарищ был подлинным патриотом — чего нельзя, к сожалению, сказать обо мне.

Может быть, достаточно простого объяснения. Орбиты наших планет приблизились к пункту опасного противостояния. Мы слишком тесно были связаны своим делом, мы порядком надоели друг другу, это был обыкновенный житейский факт, ясный для обоих. Был ли он следствием идейных расхождений или, наоборот, причиной, не имеет значения. Наше далёкое отечество, всё глубже, словно скалистый остров, тонущее в дымке, всё дальше уходившее от нас в свою собственную недоступную жизнь, — для Клим это был единственный свет в окошке. Вся наша деятельность должна была служить подготовкой к возвращению. Он так в него верил, что временами меня охватывало сострадание. Он знал, чего он хотел. Чего хотелось мне, я не ведал. Я ничего не добивался. Я питал — чем дальше, тем сильнее — отвращение к «идеям». Выражаясь поэтически, Клим верил в Россию, — а я? Будет ли преувеличением сказать, что вся Россия для меня помещалась в постели, где на подушке рядом с моей головой покоилась голова Кати? Но Катя умерла, это случилось тому три года или около этого.

Кризис напоминал едва заметную трещину, которая, однако, змеилась всё дальше, грозя расколоть льдину, где мы поставили нашу палатку. Кризис совпал со временем, когда надежда вернуться на родину блеснула, как лезвие зари на ночном небе. Клим жадно ловил новости. А вернее сказать, продуцировал новости, как и подобает истинному журналисту; мнимые перемены были исполнены для него огромного значения. Но мы по-

прежнему были прикованы друг к другу, словно каторжники, и волочили вдвоём нашу тачку; тот, кто хотел бы ускорить шаг, должен был потащить за собою товарища.

Мне незачем пересказывать наш разговор, я вернулся к себе, и тотчас задребезжал телефон, словно там дожидались, когда я войду.

«Hallo», — сказал я скучным голосом.

Но это была не баронесса.

«А, — сказал я. — Привет».

Там молчали.

«Привет, — повторил я, — это ты? Извини, я ещё не говорил насчёт работы, надо подождать...»

«Успеется. Я не поэтому звоню...»

«Что новенького?» — спросил я, не зная, что сказать.

«Ничего».

«Откуда ты узнала мой телефон?»

Номер был в телефонной книге. Адрес редакции указан на обратной стороне журнальной обложки. В доме на улице Шеллинга рядом с входом висела наша вывеска. Всеми этому мы придавали когда-то особое значение, это был вызов. Если журнал в самом деле достигал берегов отечества, то его первыми читателями, разумеется, были сотрудники славного ведомства — первыми и, возможно, единственными. Получалось, что мы трудились для них. В редакцию заглядывали подозрительные личности, звонили незнакомые голоса. Случись у нас взрыв или пожар, Клима, я думаю, был бы доволен.

«Мы увидимся?» — спросила Мария Фёдоровна.

Я что-то ответил.

«Когда?»

Новый звонок раздался, едва только я положил трубку.

«Да», — сказал я, поглядывая на дверь, откуда в любую минуту мог показаться Клима.

ХIII

В назначенное время, это было на другой день, я сидел за столиком у окна и поглядывал с высоты на площадь, голубей и туристов, на колонну с кукольной Богородицей и затейливый циферблат на башне. Прождав полчаса, я двинулся к выходу, испытывая некоторое облегчение, — в эту минуту она появилась: маленькая

рыжеволосая женщина на высоких каблуках впорхнула, рассыпаясь в извинениях. Я подумал, не следует ли мне, как принято в консервативном кругу, наклониться к ручке. Повесил на вешалку её плащ.

«А знаете, — сказала она, усевшись, оглядевшись, это было то, что называется буржуазное кафе, с зеркалами, лепниной на потолке, редко расставленными столиками, место конфиденциальных встреч, где полагалось говорить негромким голосом, выпускать дым, не затягиваясь, и отдавать распоряжения кельнеру, полузакрыв глаза, — знаете... — она коснулась пальцами пышных волос и расправила широкое платье, — на самом деле я пришла во-время. Я наблюдала за вами!»

«Чтобы решить, стоит ли продолжать со мной знакомство?»

«Я размышляла о вашей судьбе... Вы приглашены», — сказала она, опуская глаза, почти тоном приказа. Это означало, что она собирается за меня платить. Без всякого любопытства я пробежал глазами меню.

«Позвольте рекомендовать вам... Как насчёт божоле — лёгкого, молодого?» Официант принял от нас похожие на почётные грамоты папки с картами меню и напитков и удалился.

Я поглядывал на сублильную баронессу со странным именем Света-Мария, она смотрела на меня, и оба мы спрашивали себя, что может быть общего между нами.

«Как поживает ваш соиздатель? Надеюсь, — это было сказано небрежно, — он не знает о нашей встрече...»

«Разумеется, нет. Он интересовался, будут ли иметь продолжение переговоры с...»

«Ах, да, да. Можете передать ему... впрочем, муж сам ему позвонит».

«Коллега не говорит... э...»

«Ах, да. Конечно. Ну, как-нибудь обойдёмся. Муж позвонит вам. Скажите... Ведь это, наверное, очень трудно — жить в стране и не говорить на языке её народа?»

«Большинство наших так и живёт».

«Как я им сочувствую. Но ведь когда живёшь в чужой стране, необходимо научиться».

«Вы правы».

«Я имею в виду необходимость адаптации».

«Так точно».

«Вы отвечаете, словно в армии».

«Так точно».

Разговор грозил иссякнуть. Легко вздохнув, скосив глаза направо, налево, она спросила:

«Как вы относитесь к музыке?»

«К музыке?»

«Да. Я хочу сказать — любите ли вы музыку?»

«Смотря какую».

«Я хочу сказать, настоящую музыку».

«Настоящую люблю».

«У меня предложение...» — проговорила она и остановилась. Кельнер приблизился со своими дарами.

«Ого», — сказал я.

Она поблагодарила официанта кивком, он зашагал прочь походкой манекена. Я чувствовал себя в мире кукол. Одна из них сидела напротив меня — с фарфоровой кожей, слегка скуластая, с узким подбородком, в пышной причёске семнадцатого столетия. Под широким струящимся платьем целлулоидное тело, должно быть, обтянутое розовой материей.

«Здесь неплохо готовят, надеюсь, вам понравится. — Она была уверена, что я не только не был, но и не мог быть никогда в этом заведении. Она подняла бокал. — Prost... э-э...?»

Я назвал своё имя.

«А как зовут меня, вы, надеюсь, не забыли. Представьте себе, я догадываюсь, о чём вы думаете!»

«О чём же?»

«Вы думаете: крутом искусственные люди, всё у них рассчитано, подсчитано, и живут они рассудком, а не по велению сердца... Ведь так? Русские очень высокомерны. Я хочу сказать... Вероятно, западная психология...»

Она умолкла, закуривая сигарету, подала знак официанту принести кофе. Выпустила дым к потолку.

«У меня на сегодня абонемент. Мой муж, знаете ли, равнодушен к музыке».

Я мог бы возразить, что и я, пожалуй, равнодушен к музыке, если музыка равнодушна ко мне. Если же нет... Мне не пришлось долго ждать в фойе, баронесса явилась, оживлённая, с блестящими глазами, издающая еле ощутимый аромат духов, и несколько времени погода мы оказались в высоком сумрачном зале, где, впрочем, изредка приходилось мне бывать. Огромная тусклая люстра под потолком обливала мистическим сиянием ряды публики, колонны и гобелены с подвигами Геракла. Свет померк. Пианист появился,

встреченный аплодисментами. Народ сидел, оцепенев, как обычно сидит здешняя публика. Пианист играл *Адажио си-минор*, насколько мне известно, оставшееся без названия, — поразительную вещь, от которой невыносимо тяжело становится на душе; может быть, начало какого-то более крупного произведения, которое Моцарт так и не написал, увидев, что уже всё сказано, что дальше может быть только молчание, терпение и покорность судьбе. И в самом деле, зал безмолвствовал, когда музыкант, уронив руки на колени, опустив голову, сидел перед своим инструментом; потом раздались неуверенные хлопки.

Что-то происходило со мной, к стыду моему, — я совсем не был расположен вести светскую беседу и охотно распрощался бы с баронессой, поблагодарив за доставленное удовольствие; вместо этого я нёс какую-то чушь. Как ни странно, немецкая музыка всегда напоминает мне страну, из которой я бежал сломя голову.

«Только музыка?» — спросила она. Да, музыка и ничего больше. Сеялся мелкий дождь, она сунула мне ключи от машины, я принёс зонтик, и мы побрели в Придворный сад. Сидели там, подстелив что-то, на скамье в открытой ротонде с колоннами, и город церквей и сумрачных башен, в призрачных огнях, влажной паутиной обволакивал нас. Город, сотканный из вещества того же, что и сон.

«Откуда это?»

«Шекспир. Буря».

«Мне кажется, там сказано иначе».

«Какая разница».

«Вы в это верите?»

«Во что?»

«Вы верите в сны?»

«Госпожа баронесса...» — проговорил я.

Она поправила меня: «Света-Мария».

«Пусть будет так... Давайте внесём ясность. Я благодарен вам. Вы проявили ко мне необыкновенное внимание. Но мне кажется, вы принимаете меня не за того, кто я на самом деле...»

«Кто же вы на самом деле? — спросила она, закуривая; я отказался от сигареты. — Вы молчите».

«Мне трудно ответить».

«Хорошо, я попробую ответить за вас. Если я не права, вы меня поправите. Я действительно приняла вас не совсем за того, кем вы, по-видимому, являетесь. Из чего, однако, не следует, что я разочарована».

«Спасибо».

«Я приняла вас даже за двух разных людей. Когда вы пожаловали к нам... с вашим коллегой... я подумала: этого не может быть. Это другой человек. Но это были вы. Я не знаю вашей среды...»

«Пожалуй, в этом всё дело».

«Но мне совершенно безразлично, кто вас окружает. Я знаю только одно».

«Что же именно?»

«Что мне придётся принять вас таким, каков вы есть! — сказала она, смеясь. — И вы не должны отказываться... не смею сказать, от моей дружбы, но от моей помощи...»

Я встал.

«О, я не покушаюсь на вашу гордость. Удивительные вы люди! Разве вас не унижает сиденье на папери?...»

«Света-Мария», — проговорил я.

«Да, — она откликнулась неожиданно глубоким, грудным голосом. — Вы хотите мне что-то сказать?»

«Нам пора прощаться».

«Но до машины вы меня хотя бы доведёте?»

XIV

Я нарочно остановил такси на соседней улице, чтобы не привлекать внимания; меня могли узнать, ведь она никуда не переезжала, это была просто одна из ложных версий. По всей вероятности — слухов, распространяемых всё той же конторой. Ничего не изменилось, разве только фасады старых зданий стали ещё обшарпанней, кое-где обрушились водосточные трубы, подъезды с настежь распахнутыми, залатанными фанерой дверьми, зияли тьмой. Тускло отсвечивали пыльные окна. Впереди, в расщелине переулка тлел ржавый закат. Ничего тут не изменилось, и в то же время всё стало чужим. Двойное чувство владело мной — я узнавал и не узнавал наш район. Редкие прохожие растворились в сумерках, протрусила собака, я шёл, вглядываясь в номера домов, но и номера стёрлись; свернул в соседний переулок — дом был в десяти шагах от меня, я кружил, не замечая его. Пёс неподалёку перебирал лапами от нетерпения, я поманил его, он бросился в сторону, остановился, виляя хвостом, точно ждал, что я позову его снова, позову по-русски: зверь не понимал чужого языка. Я вошёл в подъезд и стал не торопясь подниматься по лестнице.

«Здание, как я вижу, не ремонтировалось с тех пор», — сказал я, войдя в квартиру.

Она была больна, лежала в постели. Она поднялась мне навстречу.

«Простудишься, надень халат. Где у нас...? Я сам»

Стоя на шаткой табуретке, я достал с антресолей два чемодана, дул пыль и проверил замки. Я спросил у Кати, что она хочет забрать с собой, вынул стопку белья из шкафа, снял с плечиков и уложил её платья, а где то, где другое, зубная щётка, спрашивал я, где твоя зубная щётка? Тут только я заметил, что говорю с ней, задаю вопросы, а она не откликается. Она сидела на краю кровати, поджав пальцы босых ног, сунув руки между колен, её ключицы резко выделялись в разрезе рубашки, глаза блестели в тёмных глазницах. Ты совсем больна, пробормотал я, но ничего, мы тебя там подлечим.

Наконец, я услышал её голос. Глухой голос, как прежде.

«Я не понимаю», — сказала она.

Я возразил: чего ж тут не понимать. Приедем, надо будет основательно заняться здоровьем.

В ответ она покачала головой, оттого ли, что не верила в своё выздоровление, или оттого, что не понимала меня.

Конечно! Сам того не замечая, я говорил на чужом языке.

«Катя, — сказал я, — какой я идиот».

Мне показалось, что в дверь постучались. Я взглянул вопросительно на жену, она пожала плечами и кивнула головой.

«Кто это?» — спросил я, и она снова кивнула.

«Это — они?» — прошептал я в ужасе.

Открыть дверь и броситься прочь, пока они не опомнились.

Она покачала головой, словно хотела сказать, что «они» теперь не у дел, я не верил ей. На кухне был чёрный ход. Но внизу во дворе кто-то наверняка уже поджидал, нужно уходить на чердак. Перебраться на крышу соседнего дома. Слезть по пожарной лестнице... Все эти мысли, как ток, ударили мне в голову и ушли по спинному мозгу в пол. Я застыл, всё ещё под воздействием электрического удара. Раскрытый чемодан с одеждой лежал у моих ног.

Голос Кати прошелестел: «Сейчас увидишь». Дверь отворилась, вошёл некто, и я тотчас успокоился.

Вошёл оборванный бородатый мужик в изжёванной непогодой фетровой шляпе, в сапогах, просящих каши, с сумой через плечо, не здороваясь, спросил, кто это.

«Мой муж», — был ответ.

«Какой такой муж». Человек, ворча, начал стаскивать через голову свой мешок.

Я рылся в карманах, чтобы дать ему мелочь.

«На херá мне твои подачки, у меня своих денег хватает». Он сунул руки в карманы своего рубища и вынул полные пригоршни монет, там было и две-три скомканных бумажки. Мешок лежал на полу, человек наклонился и стал выкладывать на стол рядом с деньгами куски хлеба, остатки еды, завёрнутые в газету, достал со дна жестянку с бычками в томатном соусе. Под конец явилась поллитровка.

«Садись, ужинать будем...»

«А как же...?» — спросил я, кивая на чемоданы.

«Успеется». Он открыл зубами бутылку, налил себе и мне по полстакана, плеснул на доньшко Кате.

«Значит, говоришь, за ней приехал. А ты у неё спросил, хочет ли она? Со мной согласовал? Ладно, давай... Со свиданьем».

Он подвинул ко мне консервную банку, Катя принесла три тарелки, я их сразу узнал, теперь они были тёмные и выщербленные. Я сказал:

«Ей бы надо одеться, здесь холодно. Хотя бы халат накинуть».

«Ничего. Так она мне больше нравится. Мне вот даже жарко. — Сожитель скинул своё одеяние, остался в майке, обнажив могучие татуированные плечи, на груди поверх майки висел большой целовальный крест. — Так, говоришь, приехал? Ну, раз приехал, чего уж тут. Как-нибудь устроимся... в тесноте да не в обиде».

Но я вовсе не собираюсь оставаться, возразил я или, может быть, подумал.

Всё своим чередом, сказал он.

Я спросил: это как понимать?

«А вот так и понимай. Ты пей, ешь... Чего тут не понимать. Поделится. Одну ночь ты, другую я. Уступаю тебе очередь. Цени моё благородство. Гостю почёт и уважение, верно я говорю, Катюха?»

«Послушайте, — сказал я. — У нас мало времени. Спасибо за угощение, было интересно с вами познакомиться. Нам пора. Такси ждёт за углом».

Катя молча вышла из-за стола и улеглась в постель.

«Ну чего ты, — сказал новый хозяин, — чего тебе здесь не нравится. Я, что ль, не нравлюсь? Харчами моими брезгуешь?»

«Не в этом дело...»

Кто-то скрёбся в дверь. Человек встал и открыл. Вбежала собака, вероятно, та же, которую я видел на улице, и стала кружить по комнате.

«На место!» — зарычал хозяин.

Он поставил тарелку с едой на пол.

«Не в этом дело», — проговорил я.

«А в чём же тогда? Я тебе вот что скажу». Он уселся за стол.

Пёс скулил в углу.

«Молчать! Ежели какая-нибудь там философия, то, конечно. А вот если так, по-простому, как жизнь велит... Жизнь, она свои законы диктует».

«Я вас не понимаю».

«А ты вообще-то что-нибудь понимаешь?»

Скулёж перешёл в протяжный вой. Мы поднялись. Пёс сидел, задрав кверху морду, возле кровати.

«Катя, — спросил я, — тебе холодно?»

Она молчала.

«Укрыть тебя ещё одним одеялом?»

Ответа не было, я увидел, что она умерла.

XV

Казусы, которые случались со мной, не стоили бы упоминания, если бы следом не потянулись другие, такие же странные происшествия, если бы с ними не входили в мою жизнь важные перемены.

Отнюдь не надеясь кого-либо убедить, хочу только заметить, что моя вторая профессия оставляла мне достаточно времени для размышлений. Я испытывал потребность подвести некоторые итоги. В те дни я понял, что целая эпоха моей жизни подходит к концу. Ничего не осталось от молодости, «зрелость» начала вянуть; я стоял у порога старости.

Не то чтобы я собирался устроить смотр своих достижений, какие там достижения. Если у меня и были какие-то задатки, я не сумел их реализовать. Я ничего не добился в жизни, ничем особенным себя не проявил. Умри я сегодня ночью, завтра ни одна душа обо мне не вспомнит. Просто я достиг поры, когда можно было сделать кое-какие выводы, извлечь кое-какие уроки из прожитого, я даже понял, что выводы, в сущности, уже готовы, нужно лишь по возможности чётко сформулировать их для себя. Вслушаться в голос, который их толкует. Я не отде-

ляю себя от своего «времени» (что за дурацкое слово). Очевидно, что я представляю собой в самом чистом виде то, что называется — дитя времени. Именно поэтому я принял единственно разумное решение выломаться из времени, как выламывают решётку тюремного окна.

Какое это, в сущности, гнусное время. Нет, это даже не требует доказательств. Это все знают!

Знают и всё-таки скажут: почему же только гнусное? Почему не великое? Время грандиозных открытий, неслыханных достижений. Например: когда и где ещё были изобретены зубные щётки такой изумительной формы, хитроумнейшей конструкции, для всех челюстей и на все случаи жизни? Скажут — да ведь никогда не было в истории счастливых времён, и всегда современники считали свой век самым бедственным. Почитайте, что пишет Тацит, почитайте хроники Великого переселения народов, или Чёрной смерти XIV века, или Тридцатилетней войны; в конце концов, загляните в историю Иова.

Я подумал: есть ли что-нибудь вроде объективного критерия бед, существует ли температура несчастий? Сверкающий столбик ртути в термометре столетий то опустится, то подскочит ещё выше, пока, наконец, не упрётся в верхний конец шкалы: именно в это время нас угораздило жить. Никогда я не мог понять людей, которые гордятся тем, что были свидетелями и участниками великого времени; этому времени можно только ужаснуться, его надо стыдиться.

Кто-то объяснил: дух истории утоляет горечь сознания, что всё в этом мире идёт прахом. Пускай нам кажется, что мы были этим прахом, человеческой пылью, спрессованной в сыпучее содержимое песочных часов. История ставит всё на место. История воздаёт правым и виноватым. История всё объясняет, примиряет, оправдывает. История — Бог нашего времени. Господи, какая чушь.

Да, мы сподобились в самом деле посетить этот мир в его минуты роковые; мы видели историю, не ту, о которой написано, но ту, которая была, воочию, как солдат видит перед собой медленно вращающиеся гусеницы танка. Куда деваться от чудовища, нависшего над нами, над каждым человеком? Вот великий вопрос. То, что будет историей нашей эпохи, не будет историей людей, это будет история трупов, это будет история выпотрошенного человечества. Как спастись, думал я, куда деться?

XVI

Теперь ещё два слова по личному вопросу. Моё отношение к Марье Фёдоровне: боюсь, что мне не удастся сказать на этот счёт что-либо вразумительное. В моей жизни, мало помалу приобретающей какой-то призрачный характер, она была ещё одним призраком, вот и всё. Видимо, я разучился по-настоящему привязываться к людям. Что же тогда мешало мне порвать с ней? Ответ простой, обыкновенная мужская причина, звоночек, который время от времени позвякивает в мозгу. Но я чувствовал, что тут прищипывается что-то другое. Возможно, я просто жалел Машу. Жалость вообще движет людьми гораздо чаще, чем думают. Наконец, то и другое могли быть двумя сторонами одного и того же, сострадание к женщине подогревало желание. Я не мастер анализировать взаимоотношения полов.

Тут, впрочем, было ещё одно, весьма скользкое обстоятельство. Меня не смущал способ, которым моя теперешняя подруга зарабатывала на жизнь. Загвоздка была как раз в другом — в том, что я пользовался её благодеяниями бесплатно. Для Маши это было знаком того, что она относится ко мне, так сказать, непрофессионально; знаком того, что она меня отличала, если уж на то пошло — доказательством любви. А для меня... Для меня это означало, что я оказался в дурацком положении невольного конкурента. В чём и пришлось убедиться в самое короткое время.

Я вошёл в холл; перед лифтом стоял человек.

«Не работает».

Я повернул к лестнице, он преградил мне дорогу.

В чем дело, спросил я. Он спросил, к кому я иду. Я пожал плечами.

«Можешь не объяснять, — сказал он, — и так знаю».

Оказалось, что это комендант. Мы вошли в каморку, где стоял письменный стол. Бумаги, телефон, портрет на стене — всё как полагается. Портрет изображал восточного potentата в погонах.

«Председатель революционного совета. Великий человек», — сказал комендант.

Я поинтересовался, какое это государство.

«Ирак. Не слышал, что ли?.. Ирак — оплот свободы и независимости Востока против американского империализма. Друг нашей страны».

Какой страны, осторожно спросил я.

«Нашей! — отрезал комендант. — У нас страна одна. Есть ещё вопросы?»

Медленно отворилась дверь, показался широкий зад уборщицы, которая несла поднос со стаканами, сахарницей и тарелкой. Несколько времени мы пили чай, комендант, спохватившись, протянул через стол волосатую ручищу, представился:

«Алексей. Можно просто Лёша... А как тебя звать, я знаю. И чем ты занимаешься, знаю... Я ваш журнальчик почитываю, — сказал он, — вы там разную хреновину пишете, небось тоже на американские денежки, а?..»

Комендант допил чай, обсосал лимонную дольку.

«Не хочу, конечно, тебя обижать, но вообще-то говоря... — он покачал головой, — нехорошим делом занимаетесь».

Почему, спросил я.

«А потому. Предаёте национальные интересы России. Ты Ильина читал?»

«Какого Ильина?»

«Иван Александровича, профессора!»

«А», — сказал я.

«Читал или не читал? Очень советую. Великий человек. Вот вы там всё долдоните: фашизм, тоталитаризм... А что говорит Ильин? Ильин говорит: фашизм исходит из здорового национального чувства... России нужна сильная власть. Запад нас не знает, не любит, радуется нашим бедам... Пей чай».

Я поблагодарил за угощение, сказал, что мне пора.

«Куда это?»

Я вздохнул, пожал плечами.

«К Маньке?»

«Знаешь, Лёша, — сказал я спокойно. — Это не твоё собачье дело».

«Ага, — зловеще молвил комендант, развалился на стуле под портретом наследника ассирийских владык и сложил руки на животе. — Вот так, значит. Не моё собачье дело. Нет, ты постой, постой! Мы ещё как следуем не поговорили».

«О чём?»

«А вот о том самом. Во-первых. Посторонним вход в общежитие запрещён. Мне ведь только стоит слово сказать. Тебя отсюда грязной метлой погонят! Это как минимум. Ясно?.. Нет, ты постой. Ты — не торопись. Сядь...»

Он почесал в затылке и продолжал:

«Во-вторых... Мы так хорошо поговорили. Давай и дальше по-хорошему. В чём тут дело, всю, так сказать, ситуацию ты знаешь. Я тебе так скажу: если бы не я, Маша твоя давно бы пропала. Шаталась бы по панели, а потом, как все они, — в выгребную яму... Попала бы в лапы одному из этих... Я этот мир знаю. Советую со мной не ссориться. Давай начистоту, хочешь к ней ходить — пожалуйста. Я ничего не вижу, ничего не знаю. Но имей в виду! Если ты другое задумал...» — он погрозил пальцем.

«Что задумал?»

«Будто не понимаешь. Стать её другом. Покровителем, ёптвою. Ну, котом, по-русски. Так вот: и думать не смей. Здесь хозяин один. Вот он здесь, перед тобой... Мою мысль понял? Ходить, ходи. И про это дело не забывай: сколько надо, — комендант потёр палец о палец, — она тебе сама скажет».

Однако, подумал я, она ничего мне об этом не говорила.

XVII

Было воскресенье, по-прежнему стояли тёплые, дымчато-сонные дни затянувшейся осени. Полупустой поезд, безлюдная платформа; я прошёл мимо касс-автоматов, спустился в туннель под железной дорогой, вышел наружу, там тоже ни души, вышел с другой стороны, она ждала на стоянке, она помахала мне издалека, я уселся рядом с ней. И мы покатали через уснувшие поля, под выцветшими небесами, мимо игрушечных деревень с двускатными крышами и балконами, со шпилями церквей, где вместо крестов красуются петухи, навстречу поднимающимся из низин медным, тронутым вялой киноварью лесам. По узкой, пустынной асфальтированной дороге ещё километров двадцать, и вот, наконец, лес расступился. Взошли на крыльцо. В этом домике, сказала она, её отец отдыхал после размолвок с её матерью, писал мемуары и сочинял стихи.

Среди сизых елей за железной оградой помещалось фамильное кладбище, гранитные плиты с гербами, с длинными звучными именами. Составной герб — принадлежность не слишком древнего рода. Что значит не слишком древнего, спросил я.

«Древние гербы всегда просты, крест или зверь, больше ничего. А наш род известен только с шестнадцатого века. Я говорю о нашей фамилии, не о фамилии моего мужа... Вон там, — сказала она, — лежит мой дед. Он был повешен».

Вошли в дом и вступили в большую комнату, обставленную в рустикальном вкусе.

«Voilà». Она протянула мне фотографию в рамке, стоящую среди других на столике в углу. Сухощавый человек с генеральскими листьями в петлицах, с планками орденов.

«Между прочим, один из немногих, с которыми Эрнст Юнгер был на “ты”. Вам это имя что-нибудь говорит? У Юнгера есть запись в дневнике о моём дедушке».

Она разыскала книгу на полке.

«В нём проявляется очевидная слабость аристократии. Он достаточно хорошо понимает, куда всё это идёт, но совершенно беспомощен перед лицом сволочи, у которой есть только один аргумент — насилие... Беспомощен. Это он так пишет о моём дедушке. Но ведь это неправда, как вы считаете?»

«Если судить по результатам заговора, то Юнгер, может быть, и не так уж неправ...»

«Ах, не говорите. Разве сам по себе этот поступок, этот... жест не имеет значения?»

«Разумеется. И всё же...»

Она сказала:

«Я была совсем крошкой. И дед мой сидел вот в этом самом кресле. Он был в мундире с золотыми пуговицами и узких лакированных сапогах. Всё в нём было узкое, лицо было узкое, он был высокий и стройный. И говорил со мной с испанской учтивостью, словно с инфантой... Я стояла возле него, он усадил меня к себе на колени... От него пахло духами, табаком, сталью... он весь был из какого-то благородного металла. У него были синие глаза. Больше я его никогда не видела. Нам, как вы понимаете, пришлось уехать. Плиту положили уже после войны».

«Вы сказали — повешен?»

«Да, как все они. Он находился в Париже, занимал там высокий пост. Он и Юнгер жили в одной гостинице. Он даже успел кое-что сделать, когда пришло сообщение о взрыве. Ведь сначала думали, что покушение удалось. Но я уверена, он всё равно начал бы действовать, даже если бы знал, что диктатор остался жив... На другой день после взрыва, — всё было уже известно, эта бестия отделалась царапинами... — дедушку срочно вызвали в столицу, он понимал, что это означает... Отправился в машине с денщиком и шофёром. По дороге велел остановиться и сказал, что хочет пройтись. И они услышали выстрел в лесу. Сначала думали, что это партиза-

ны. Моя мама узнала, что он лежит в госпитале в Вердене. Его спасли, но он повредил зрительный нерв и ослеп. Палач вёл его под руку к виселице».

Она поставила портрет на столик, долго возилась, переставляя рамки с фотографиями.

«Некоторые до сих пор считают, что заговор и покушение, в военное время... Мой муж тоже так говорит. Он считает, что это измена и по закону с ними так и должны были поступить».

Я спросил:

«По какому закону?»

«По тогдашнему, какому же ещё».

«И что вы ему ответили?»

«Что я могу ответить... — Она пожала плечами. — Мы давно уже ни о чём не спорим. Я ужасно голодна. А вы? Мы можем предварительно закусить, а ближе к вечеру пообедаем».

Она вынула из холодильника какую-то снедь, мы подкрепились и вышли из дому. Неловкость росла между нами, растерянность, которую можно было преодолеть только разговорами, но светский тон был неуместен, и оттого разговор только усугублял эту неловкость. Маленькая, бледная и зеленоглазая женщина в платье, почти доходящем до щиколоток, в ореоле янтарных волос, шла, стараясь попадать в шаг, помахивая прутиком; поговорили о здешних местах, об удивительном цвете неба и календаре, начался охотничий сезон, объяснила она. Её муж каждый год в это время ездит в Каринтию, у него там Schlöbchen, крошечный домик-замок в горах. Так что я могу переночевать здесь без всяких затруднений.

«А если бы...»

«Если бы он был здесь? Я бы вас не приглашала!»

Она прибавила:

«Мой муж — своеобразный человек. Да и я тоже... У нас нет детей».

Я спросил, означают ли её слова, что барон против.

«Против того, чтобы у нас были дети, что вы! Как вам могла придти в голову такая мысль. Род должен продолжаться».

«Он последний в своём роду?»

«Есть родня в Англии, в Швеции. Северная ветвь. Но знаете, генеалогические соображения меня лично мало беспокоят».

Дошли до леса.

«Я думаю, — пробормотала она, — дождя не будет».

Блѣклое голубоватое небо незаметно превратилось в серожемчужное, дали заволоклись, исчезли тени. Мы шли кружным путѣм вдоль лесной опушки. «Расскажите о себе, — попросила баронесса, — мы всё время говорим обо мне».

«Вам, в самом деле, интересно?»

«Если бы не было интересно, я бы вас не приглашала».

«Что же мне рассказывать?»

«Меня всё интересует. Как вы здесь оказались. У вас есть жена?»

«Была».

«Здесь... или там?»

«Она умерла».

«О! Простите».

«Мне кажется, что...» — проговорил я и хотел сказать, что зачем и не о чем особенно распространяться, что она уже достаточно обо мне знает. Я хотел сказать, что мы случайно познакомились и так же ненароком расстанемся. И слепые фиолетовые небеса, увядающий лес, и что-то неясное вдаль — пелена облаков, или другие леса, или руины замков, — призывают к молчанию.

«Мне кажется...»

«Да. Мне тоже», — сказала она, и теперь, когда я вспоминаю этот диалог, мне почти ясно, что имелось в виду. Мы подбирались к неизвестной мне цели нашего разговора, к тому, ради чего была затеяна эта поездка, мы словно карабкались на высокую гору, и чем дальше, тем труднее был каждый шаг, и мы радовались возможности брести, отдыхая, когда крутизна сменялась пологой тропинкой. А там опять круто вверх — последний, почти отвесный отрезок пути — и чуть было не оступились, чуть не сошлись вниз, — и вот площадка.

«Послушайте...» — пробормотала она.

Обогнули опушку, открылось широкое поле, рапс был уже убранный. Я подставил руку кверху ладонью.

«Вы думаете, капает? — Она оглядела небо и покачала головой. — По-моему, дождя не будет».

«Вы не боитесь промокнуть?»

«Я? Нисколько. Но я говорю вам, дождя не будет. Вы плохо знаете наш климат».

«Вы хотели мне что-то сказать...»

Короткое молчание.

«Да. Хотела сказать».

XVIII

«Дело вот в чём».

Первые фразы были произнесены сухим, строгим, я бы даже сказал, начальственным тоном. Но затем самообладание стало покидать мою собеседницу.

«Дело вот в чём... только не свалитесь со стебля!»

«Что это значит?»

«Это такое выражение. Вы его не слышали? Я хочу сказать, не падайте в обморок. Мои семейные обстоятельства вам теперь более или менее известны. Я бы хотела просить вас, чтобы наш разговор, как и эта встреча, остались между нами. Впрочем, сейчас вы всё поймёте. Я хотела вам предложить... просить вас... не сочтите это экстравагантностью. Я... — она запнулась, — одним словом, я хочу, чтобы вы подарили мне ребёнка».

Площадка на вершине, куда мы, наконец, взобрались.

«Ребёнка?» — ошеломлённо спросил я.

«Да. Ребёнка».

Я остановился, и она остановилась. Кругом стояла такая тишь, что, упав с дерева листок в ста шагах от нас, мы бы услышали. Стало накрапывать. Она вздохнула.

«Выслушайте меня... Я сделала все необходимые исследования. Вероятно, мне не следовало бы вам говорить, что я не люблю моего мужа, никогда не любила... но дело не в этом, дело в том, что теперь стало окончательно ясно, виновата не я, виноват он, я имею в виду бездетность... Мои годы уходят...»

Мы стали под деревом. Дождик слабо шелестел вокруг нас.

«Вы молчите», — сказала она.

Я проговорил:

«Света-Мария...»

«Да».

«Но почему я?»

«Почему вы. Представьте себе, мне трудно объяснить. Потому что вы, а не кто-нибудь. В тот день, когда вы приехали с вашим коллегой... когда вы вошли. У меня вдруг промелькнула мысль. Как-то ни с того ни с сего. Первые мысли всегда самые безумные... и... и, может быть, самые верные. Так вот, я подумала: Бог мой — а почему бы и нет? ».

Я усмехнулся. «Света-Мария, вы меня совершенно не знаете».

«Немного знаю».

«Вы даже не знаете, — продолжал я, — достаточно ли я здоров».

«Я навела справки».

«Каким это образом?»

«Предоставьте мне самой заботиться об этом».

«Я здесь совершенно чужой человек».

«Это и есть, скажем так... один из доводов. Не единственный, конечно... Позвольте мне выложить все карты на стол. Если вы согласны... пожалуйста, не возражайте, выслушайте меня... Если вы согласны и... всё будет хорошо... я хочу сказать, если ребёнок появится на свет, никто ему никогда не должен будет сообщать об обстоятельствах его рождения, его жизнь, как вы понимаете, будет обеспечена, он будет носить наше имя, будет законным наследником, и никто...»

«Баронесса... — я перебил её, она посмотрела на меня с упрёком. — Света-Мария. Я ничего не хочу обсуждать...»

«И не надо», — сказала она быстро.

«...разрешите мне только задать один вопрос. Вы сказали — если я вас правильно понял, — сказали, что барон не способен зачать ребёнка...»

«Да, но он не в курсе дела. Он уверен, что причина — это я».

«Значит, э...»

«Да, — сказала она просто, — врач показал мне его сперму под микроскопом».

Стало совсем сумрачно, капли падали сквозь листву, дождь шуршал вокруг нас, дождь был семенем, падавшим на осеннюю бесплодную землю. Баронесса сжимала на шее кружево воротничка, я набросил свой пиджак ей на плечи, она пробормотала:

«Само собой, и ваше существование будет обеспечено».

«Моё существование, что это значит?»

«Вам будет выплачиваться ежемесячное пособие. Из Швейцарии...»

«Баронесса!»

Она не слушала. «С тем, однако, что вы никогда...»

Пособие, подумал я, — за что?

Странно сказать, но только в эту минуту я осознал, чего, собственно, от меня хотят. Физически осознал. Чтобы на завтра выкинуть меня, не глядя, как использованный билет для однократной поездки.

Расхохотаться! Вот что сделал бы каждый на моём месте.

Мы стояли под деревом, продрогшие, в сырой, пахнущей мёртвыми листьями полумгле, полутьме, спустя немного я услышал ее голос на бегу.

«Пожалуйста, ничего не говорите... не отвечайте... Я понимаю, что наговорила много лишнего... Нам надо поторопиться... Не повезло с погодой... Боже мой, — говорила она, — вы совершенно промокли. Вам надо сменить платье. Пожалуйста, вот сюда. — Она немного суетилась. — Вы найдёте там всё что нужно... Вы умеете разжигать камин?»

Умытый и причёсанный, я чиркал спичкой, сидя на корточках, подобрав полы шёлкового халата. Она вошла. Как и я, она была в кимоно. Я откупорил бутылку. Мы сидели между свечами. Воцарилось удивительное спокойствие, больше ничего не было сказано, словно ничего не произошло; в сущности, и не могло произойти; лицо её выражало полную безмятежность, уста произносили будничные незначащие слова, — она давала мне понять, что не было никакого разговора. Двое, женщина и мужчина, сидели за столом, трещали дрова, мерцали свечи, искрилось вино. И вот она явилась издалека, непостижимая музыка, четырежды стучащая фраза наполнила счастьем, которому нет названия, рояль робко начал разговор, и оркестр отозвался сначала вполголоса, потом уверенней; скрипки постепенно овладели собой, почувствовалась тайное могущество, и волшебная тема отступила, прощальная, ульывающая, как далёкий остров вечной юности. Не мы понимаем музыку, сказал кто-то, понять музыку невозможно, — но музыка понимает нас.

XIX

Новость, которую я услышал от Клима, не была новостью: к этому шло. Правда, всё происходило по секрету от меня или по крайней мере без моего ведома: телефонные переговоры, визиты и совещания, во время которых Клим оставался с гостями в своём кабинете. Меня не приглашали, со мной не советовались, меня оставили в покое. Я не протестовал. Мало-помалу мы вовсе перестали разговаривать, обсуждать что-либо; коротко приветствовали друг друга, после чего каждый уединялся в своей комнате и делал что положено. Главное, при всей его всё ещё не остывшей сенсационности, подразумевалось само собой.

Главное — это был гниловатый запах весны, которым тянуло всё сильней из России. То, чему я отказывался верить, по видимому, совершалось на самом деле, неотвратимо и с возрас-

тающей скоростью: глетчер сдвинулся с места и поехал вниз, крошась и оплывая на солнце. Каждая неделя приносила новые перемены. Клим объявил, что на очереди вопрос о восстановлении гражданства. «Тебя, конечно, это вряд ли интересует». Моё равнодушные уже не раздражало его. По-видимому, он давно списал меня в расход. Войдя как-то раз в комнату, где я проделывал своё обычное упражнение, он коротко осведомился о чём-то, поглядел в окошко и пробормотал: «Да, кстати... не помню, говорил ли я тебе».

Я встал на ноги.

«Журнал закрывается».

Как уже сказано, этого надо было ожидать, и всё же я был несколько ошарашен.

Журнал был, что ни говори, нашим общим детищем, он сделан для нас почти живым существом, и вот теперь тебе объявляют, а вернее сказать, доводят до твоего сведения, что это живое существо готовится испустить дух.

«Когда?» — спросил я.

«По-видимому, со следующего месяца».

Клим развёл руками, это было сказано так, словно весть была неожиданной для него самого. Было сказано — и он почувствовал облегчение. Он поспешил уточнить: то есть, конечно, не закрывается совсем. Приостанавливается. Мы рассчитываем возобновить его на новой основе.

Я спросил: кто это «мы»?

«Я... и будущие сотрудники. В конце концов, и ты тоже... Если, конечно, захочешь».

То есть явно подразумевалось, что я не захочу. На новой основе — это значило «там».

«Ты решил вернуться?»

«Конечно».

«Но ты мне об этом ничего не говорил».

«Разве?.. Господи, но это же ясно. А как же иначе. Это само собой разумеется. Что нам здесь делать?»

«А что там делать?»

«Там? Извини, — сказал он, — я тебя не понимаю. Когда там такие события. Происходит настоящая революция! Мы просто обязаны вернуться».

Я спросил, могу ли я рассчитывать на выходное пособие.

«Какое пособие?»

«Фирма закрывается и выплачивает служащим компенсацию. Так принято... по крайней мере, в этой стране».

Последнюю фразу не следовало произносить. Получалось так, что я противопоставляю «эту страну» варварским обычаям России. И как бы попрекаю моего товарища тем, что он верен этим обычаям. В былые времена он бы взорвался. Но теперь — никакой реакции. Словно он хотел показать, что он уже там, по ту сторону границы. Покачал головой. Разумеется, никакого пособия мне не полагалось. Наши средства на исходе. Южный барон, как мне, вероятно, известно, отказал. Из Штатов больше ничего не поступает: они там считают, что холодная война кончилась. Так что уже по этой причине пора было закрывать лавочку.

Но сколько-то ещё осталось, сказал я. Нет, сказал Клим, денег хватит только на то, чтобы переправить технику и остальное.

Он собирался забрать с собой обе пишущих машинки, копировальный аппарат, ещё что-то и гордость редакции, недавно приобретённый компьютер. Прочее составлял наш архив, стопки старых номеров журнала, крамольные брошюры и рукописи. Говорить больше было не о чем, всё же я не удержался и спросил:

«А если там ничего не получится?»

«В каком смысле?»

«Если не удастся наладить выпуск?»

«Не думаю, — сказал он. — Наш журнал там известен. Одним словом...»

Одним словом, надо ехать, все эти годы мы держали руку на пульсе страны, но теперь события развиваются столь стремительно, что мы здесь начинаем отставать. Даже если бы денежки не иссякли, надо было выпускать журнал там. Надо ехать, надо возвращаться туда, где нас ждут, где мы нужны, где нам готовы всё простить. Что простить? Да то, что мы сбежали, оставили родину, бросили нашу старую мать.

«Выходит, — пробормотал я, — можно считать себя уволенным?»

«Выходит так», — промолвил Клим и снова развёл руками. Я окинул взглядом свой «кабинет», оторвал прикнопленный над столом план очередного номера, снял цветной календарь, свернул в трубку и сунул в карман. На улице шёл проливной дождь; постояв в подъезде, я швырнул календарь в урну и двинулся в неизвестном направлении.

Summing up¹, — я испытывал облегчение.

¹ резюмируя... (англ.).

XX

Как ни странно, восстановить иные события легче немного погодя, нежели сразу после случившегося: память переживает нечто вроде обморока, нужен срок, чтобы она пришла в себя. Дождь закончил с бабьим летом. Мы ввалились в уединённый дом, промокшие до нитки. Дождь шумел всю ночь с воскресенья на понедельник, и всю обратную дорогу в город — возвращался я один — стрелы дождя летели навстречу окнам вагона. Это был тот самый понедельник, когда Клим объявил о своём решении. И когда, выйдя из нашей конторы, чтобы никогда больше не увидиться с моим товарищем (позже я узнал, что он в самом деле отбыл, потом вернулся, некоторое время спустя снова уехал, журнал, по слухам, так и не возобновился), когда, стоя в подъезде с ненужным календарём в руках, я думал о том, что непостижимая судьба поворачивает ко мне свой серебряный лик, чтобы сказать мне, что я свободен, наконец-то окончательно и безвозвратно свободен — от всех обязанностей, от всех дел, от рутины, от этих оглобелей жизни, — избавился раз и навсегда, — когда я так стоял и размышлял, дождь по-прежнему хлестал по чёрному тротуару и гнал согбенных прохожих, и смывал прошлое, и мимо меня, с могильным сиянием фар, в веерах брызг неслись автомобили. И так... на чём мы остановились?

Что ж! Мы остановились на том вечере, воистину самом прекрасном из вечеров, по крайней мере, прекрасно начавшемся или, лучше сказать, прекрасно задуманном. Патрицианка, сошедшая с полотна XVII века, указала на ванную. Гость принял душ и, облачившись в дальневосточный халат, словно повелитель, прошествовал в маленькую гостиную.

Я вспомнил, как это делалось в годы нашей юности, в те ослепительно-солнечные дни и морозные, оловянные, свинцовые ночи, когда мы провели однажды каникулы в деревенской избе, вдвоём, с запасом привезённых продуктов и водки, с заснеженным штабелем дров на дворе. Сложил крест-накрест сухие, мелко распиленные поленья, между ними щепочки, комок бумаги. Voilà! Огонь заплясал в камине. Я проверил тягу, придвинул решётку к очагу, я уселся за стол и ввинтил штопор в бутылку отличного шавли primeur. Хозяйка, маленькая и уютная в тесном оранжевом кимоно, в вязаных носках, внесла тарелки с едой.

Ни единым словом не было упомянуто о том, что произошло на лесной опушке. Мне стало ясно: она спохватилась, она поняла,

что совершила оплошность, и благодарна за молчаливое согласие считать не состоявшимся наш дикий разговор. Я похвалил вино, мы наслаждались покоем, сухостью, теплом, божественной музыкой, это был Четвёртый фортепьянный концерт Бетховена, мой любимый, — и сидели, как зачарованные, глядя на язычки огня. Говорят, три свечи — дурное предзнаменование, так, по крайней мере, считалось в России. Здесь же, если не ошибаюсь, они служат знаком и обещанием благополучия. *Rax in terra et in hominibus benevolentia.*

Вспомнилась эта формула, поход в больницу, покойный пахан-профессор, — как далёк от этого мира был мир, куда я ненароком забрёл! И уж совсем астрономическая дистанция отделяла от них планету, на которой мы жили зимой в заваленной снегом деревне, в избе с дощатым столом, почернелыми иконами и огромной деревянной кровати, вдвоём, с запасом еды и выпивки, с ответами огня на железном полу перед печкой. И снова — *rax in terra*, на земле мир... Я спросил, католичка ли она. Взглянув на меня, она спросила в свою очередь, почему я спрашиваю, я не знал, всё говорилось по наитию, невзначай. Да, конечно, сказала она; как и подобало южной дворянке; потом добавила: «Для меня это большого значения не имеет».

«Религия?»

«Не религия, а вероучение. Существует разница между культом и...»

«И чем?»

«Верой в Бога».

«Вы верите?»

Она снова взглянула на меня и ничего не ответила.

«Но вы бываете в церкви».

Должно быть, она подумала, что я намекаю на моё времяпровождение на ступенях св. Непомука и моё разоблачение. Перевела глаза на оранжевые лепестки огня — фаллические цветы — и проговорила:

«Да, бываю».

Я встал, чтобы подбросить дров, вернулся, подлил ей и себе, за что же мы выпьем, спросил я. «В самом деле, — улыбнулась Света-Мария, подняв бокал, — за что? Может быть, за вас?..»

Она сидела спиной к очагу, прошло невообразимо много времени, что-то происходило, летели искры, рушились рдеющие головни, некогда бывшие юной порослью, стройными стволами, аккуратными поленницами, и за это время прошла вся жизнь, и

жизнь была перерублена, когда обстоятельства, о которых не было ни малейшей охоты вспоминать, заставили бросить Катю и опустылевший город, пресловутую родину, а лучше сказать, когда эта родина вышвырнула меня пинком под зад, — но сейчас мне казалось трусливым и лицемерным ссылаться на «обстоятельства». Обстоятельства всегда готовы избавить нас от ответственности. И вот теперь я сижу за столом, в невероятном японском облачении, вернее, сидит моя уцелевшая половина, в доме, где я никогда не был и никогда больше не буду, перед маленькой пышноволосяй женщиной, отважно предложившей себя и тотчас отказавшейся от своего проекта, сижу в последний раз, ибо и с ней я больше не увижусь. Мысли, которые и мыслями не назовёшь, картины одна другой притягательней и ужасней проплывали на дне моих глаз; машинально я протянул руку и отпил глоток.

«Конечно, — проговорила она, — и у меня есть проблемы...»

Я перевёл на неё вопросительный взгляд.

«Прежде всего, я nullipara».

«Что это значит?»

«Не рожавшая. Мой врач считает, что есть известный риск...»

Значит, она вовсе не думала отказываться. Весь вечер её мысли вертелись вокруг этого предложения! Значит, то, что в «проекте» должны участвовать двое, что, в конце концов, у меня есть собственная гордость, — ею вовсе не принималось во внимание.

«Света-Мария...»

«Молчите. Это не ваше дело. Я же говорю — мои проблемы. Я ужасная трусиха. Вы знаете, что мне уже за сорок? К тому же доктор говорит, у меня узкий таз...»

«Вы что, обсуждали всё это с вашим врачом?»

«Конечно, а как же. — Она добавила: — Он абсолютно надёжный человек».

Я молчал, она продолжала:

«Может быть, следовало побеседовать со священником. Но я вам уже говорила... Я, может быть, и верю в Бога. Да, конечно, я верую. Только, знаете, наша церковь как-то не внушает мне доверия».

«Ещё бы», — заметил я, невольно отклоняясь от темы.

«Вы, наверное, православный. Православие — очень строгая религия».

«Её не существует, — сказал я. — В России, во всяком случае».

«Вы хотите сказать, большевики... я слышала, что все храмы были разрушены».

«Причём тут большевики».

«Не понимаю».

«Её нет — одна оболочка. Видимость».

«Вы думаете? — сказала она рассеянно. Она пробормотала: — Иногда мне начинает казаться, что вас мне послал Бог...»

Говоря по правде, меня слегка передёрнуло от этих слов.

Не помню, что я ответил. Мы снова вступили на минное поле. Должен оговориться, что чужой язык имеет свои преимущества. Чужой язык освобождает от запретов. Он кажется безопасней. Слова не так обжигают, как на родном языке. На чужом языке можно говорить о вещах, которые на своём родном невозможны, на чужом языке легче признаться в любви или отвергнуть любовь... одним словом, я не думаю, что мог бы вести разговор с хозяйкой, случись нам беседовать по-русски.

Она умолкла, занятая своими мыслями, предоставив мне заполнить паузу незначающей репликой, вместо этого я вышел из-за стола, выбрал свободное место и, взмахнув руками, встал на голову.

«Что вы делаете?»

«Баронесса, — сказал я с пола, — мне так легче собраться с мыслями».

XXI

Обыкновенно, изъясняясь на языке аборигенов, я произвольно начинаю на нём же и думать или, по крайней мере, приводить в порядок свои мысли, теперь же я заметил, что думаю по-русски. Полагаю, со мной согласятся, если я скажу, что язык родных осин удивительно хорошо приспособлен к тому, чтобы мыслить на нём, находясь в позе, которую я продемонстрировал моей собеседнице.

«И долго вы так будете стоять?»

«Всего три минуты, дорогая», — сказал я. Мы снова сидели за столом, перед оплывшими свечами. Над чёрными руинами в камине плясало призрачное пламя, это была агония. Баронесса встала и вернулась, сияя улыбкой, неся два высоких бокала и в крахмальной салфетке сереброголовую бутылку в оранжевом уборе под цвет её кимоно, с портретом бессмертной вдовы.

«Я считаю, нам нужно отпраздновать нашу свадьбу!»

«Вы ещё не получили согласие жениха», — сказал я холодно.

«Ах да, согласие... — Меня смерили длинным взглядом. — Я считаю, — внятно сказала она, — что мы должны отпраздновать нашу свадьбу».

Я отколупнул станиоль, снял проволочный предохранитель. Медленно, угрожающе вращая куполообразную пробку, сдерживая напор газа, я смотрел в глаза моей сообщнице, это был поединок зрачков; я почувствовал, как дёрнулась моя щека, слабый хлопок, словно отдалённый взрыв, нарушил молчание, лёгкое облачко курилось над горлышком, ледяной напиток полился в бокалы. Стоя мы ждали, когда уляжется кипенье. Мы напоминали дипломатов двух враждующих государств. Медленно, с опаской были вознесены кубки. «Zum Wohl!»¹ — и она назвала меня по имени.

Я спросил, подняв брови: не подкинуть ли ещё дров в камин?

Она покачала головой.

«Между прочим, — холод шампанского почувствовался в её голосе, — отвернуться от дамы, когда она бросает вам цветок, это... по меньшей мере невежливо. Знаешь что... Ведь мы теперь на ты, не правда ли. Я не настолько тупа, чтобы не понимать, что так просто это не делается... Не надо сейчас об этом думать. Предоставь вещам идти своим естественным ходом».

«Естественным?»

«Конечно. Разве это не естественно, если мужчина и женщина остаются наедине, и... ясно, что дальнейшее неизбежно?»

«Неизбежно?»

«Да».

«Мне кажется, — сказал я, — в нашей ситуации есть что-то комичное».

«Может быть... Отнесись к этому легче. Русские из всего делают проблему. В конце концов, это действительно забавно: представь себе, что у тебя интрижка с дамой из хорошего общества. Нет, нет, — она опустила голову, — я говорю не то. Совсем не то. Лучше помолчим. Представь себе, что...»

Она подвинула мне свой бокал.

«Бывают неудачи», — заметил я, берясь за бутылку.

Она обвела меня искоса ироническим взглядом.

«Вот что тебя волнует», — сказала она.

¹ На здоровье! (нем.).

Мы вновь осушили рюмки. Я бы даже сказал, бодро осушили. Возможно, вдова Клико была виной тому, что диалог стал принимать игривый характер. В конце концов, выносить пафос можно лишь в небольших дозах. И мы попытались найти убежище во фривольности.

«Не то чтобы волнует, но... Всё бывает».

«Ты хочешь сказать: не всё бывает. Странный разговор... накануне брачной ночи. В конце концов, впрыснуть два миллилитра — или сколько там — мужского семени, разве это так сложно? О, извини, — сказала она, смеясь. — Сама не знаю, что говорю!»

«Ты говоришь то, что думаешь».

«Может быть, но слова всё искажают. Я думаю обо всём сразу. О самом простом и самом сложном... самом непонятном. Это судьба... Ты веришь в судьбу?»

Я пожал плечами.

«Ты находишь меня недостаточно привлекательной?»

«Я этого не говорил».

«Хорошо, тогда я сама скажу. Сначала налей мне... только немного... это вредно для ребёнка. Ты говорил, что я похожа на портрет Дюрера. Другие тоже говорят. Но ведь эта дама, согласись, не так уж уродлива! Да... да... — говорила она, теперь уже глядя не на меня, а в пространство между нами, — я не юная девушка. Но позволь тебе напомнить: жёны, не слишком влюблённые в своих мужей, хорошо сохраняются, это давно замечено. Они не засыхают, как старые девы, и это понятно: результат регулярного полового контакта. Но и не расходуют почём зря свои силы. А я к тому же ещё была добродетельной супругой».

«Света-Мария... зачем ты мне всё это говоришь?»

«Дай мне договорить... Ты недурно сложен, для мужчины это самое главное. Залог полноценного отцовства. Но ты, возможно, не обратил внимания... должного внимания, что и я... Мои платья не дают ясного представления... Уверяю тебя, я сложена на диво. Ничего лишнего! У меня в меру широкие бёдра. Мой зад выступает ровно настолько, насколько это требуется. Живот без складок, живот нерожавшей женщины. У меня грудь, которой позавидует любая девчонка. У меня маленькие, немного расставленные, прекрасно сформированные железы с розовыми сосками. Хочешь, чтобы я продолжила это описание? Плесни мне ещё немного... капельку».

Пауза. Я намерен сделать паузу. Я огляделся: сколько уже было в моей жизни таких пристанищ, голых обшарпанных стен, подтёков на потолке. Всё, что я забираю с собой, несколько книг, зимнее пальто и, само собой, моё профессиональное обмундирование — штаны, балахон, древняя касторовая шляпа, к которой я питаю суеверную привязанность, — частью сложено в чемодан, частью висит на стуле. Прочее мне не принадлежит. Я не собираюсь присесть напоследок, по русскому обычаю. Я сюда уже не вернусь. В положенный срок внесена квартирная плата, ключи лежат на столе, я предупредил жилищную компанию о том, что освобождаю комнату. Не комнату, а конуру. Они требовали, чтобы я произвёл ремонт, но с меня, как говорится, взятки гладки. Не буду рассказывать о формальностях, о сидении в коридорах всем нам знакомого учреждения, где, кстати, произошла у меня встреча со старым приятелем. В дальнем конце воздвиглась, валкой походочкой мимо обсевших все стулья, похожих на тени просителей приблизилась фигура Вальдемара. «Алала!» — услышал я древнегреческое приветствие. Теперь он был в длинной седой бороде, которую, я думаю, специально отбеливал; есть такие снадобья.

«Ты чего здесь торчишь?»

«Да вот, — сказал я, — сижучу...»

«За пособием пришёл, что ль?»

«В этом роде».

Вальди выразил удивление, что давно не видел меня на рабочем месте.

«Если ты имеешь в виду редакцию, — сказал я, — то её больше не существует».

«Накрылась?»

«В этом роде».

«Ну и хрен с ней. Я не об этом. Кстати: за тобой должок!»

«После отдам», — сказал я.

«Когда это, после?»

Мы ещё немного потолковали. Прохвост сумел-таки после смерти нашего паханá окончательно закрепить за собою его прерогативы. Не знаю только, счёл ли своим долгом взять на себя его заботу о нас. В это время на табло появился мой номер, замигал огонёк над дверью.

«Я тебя везде найду!» — крикнул он вслед.

Выйдя из кабинета, я огляделся: коридор был по-прежнему полон страждущих, Вальдемар исчез; я спустился по лестнице в вестибюль, вышел на улицу, поглядел в обе стороны, дорога в мир была открыта. На углу я сунул три монеты в щель автомата, снял трубку и набрал номер. Я брёл мимо вывесок и витрин, распахнутых дверей кафе, кое-где столики снова стояли снаружи, за стёклами сияли шестиугольные звёзды, близилось Рождество, была оттепель, всё ещё продолжалось неопределённое время года. Навстречу мне постукивали каблуками женщины, маршировали мужчины в плащах нараспашку, плелись старухи, и на всех лицах играла, как солнце на поверхности вод, обманчивая весна; я шёл без цели и направления, — по крайней мере, так мне хотелось думать, в известном смысле так оно и было: без всякой цели; шёл, почти весёлый, свободный, вот что главное, и беззаботный, как этот город, по которому некогда брёл юноша-монах в чёрном плаще с капюшоном и видел в небе над дворцами огненный меч возмездия, но до огня и пепла было ещё далеко. В самом деле, времени было хоть отбавляй. Я вышел к скверу и удобно устроился на скамейке. Спиной ко мне, на постаменте, окружённом цепями, сидел позеленевший бронзовый король.

Известно ли ей, кто это, спросил я Марию Фёдоровну, когда она опустилась на скамью рядом со мной.

Она покачала головой.

«Надо знать историю нашей новой родины», — сказал я наставительно, принял из её рук аккуратно завернутый бутерброд, банку кока-колы, прочёл, жуя и прихлёбывая из отверстия, учёную лекцию.

Жестянка полетела в урну. Бледное солнце выглянуло из марли облаков. Я хлопнул себя по коленям. После этого началось длинное путешествие. Мимо старых особняков, чугунных решёток и маленьких львов, сидящих, точно дети на горшках, на своих постаментах, мимо аккуратных безликих зданий, построенных на месте сгоревших и разбомблённых кварталов, мимо голых деревьев, где высоко на суках висели похожие на гнёзда растения-приживалы, где сидели, задумавшись, чёрно-лиловые птицы, по мокрому песчаным дорожкам, где мальчишки мчались на карликовых велосипедах, с красными флажками на длинных качающихся жердях бамбука за спиной, словно конные самураи.

Сыр-бор разгорелся из-за того, что люди епископа собирали дань с купцов из южных земель, а герцогу ничего не доставалось,

продолжал я, и тогда герцог велел разрушить переправу и выстроил собственный мост выше по реке, откуда всё и пошло. Зависть, сказал я, породила этот привольный город. Держась за руки, мы спустились по каменным ступенькам к воде. Мост гремел высоко над нашими головами.

До зимы было ещё не так близко, настоящая зима в наших палестинах начинается в конце января, но народ запасается одеялами, воровства здесь не бывает, кто-нибудь притащит жаровню, люди живут коммуной. В крайнем случае, сказал я, можно переночевать в метро, бургомистр заблаговременно распорядился не запирать двери в морозные ночи. Бургомистр даже посетил как-то раз это убежище. В газете была статья и фотография.

На сухой площадке между плитами берега и бетонным быком, стояли деревянные койки и ржавые железные кровати, комод с телевизором, газовая плита; на плечиках висел фрак, порывевший от старости и невзгод, стояло облупленное пианино, на котором владелец, облачившись во фрак и цилиндр, в перчатках с обрезанными пальцами, играл в рождественские дни на базаре Христа-дитяти, пианино выволакивали наверх, и грузовичок вёз его на главную площадь города. Источенный червяком шкаф, переживший царствования и войны, с остатками деревянной резьбы, с чёрным исцарапанным зеркалом, отгораживал угол для желающих воспользоваться двуспальным ложем любви. Маша взглянула на меня, я пожал плечами. Устанавливается очередь, сказал я.

XXIII

Мало того, что я забыл о случившемся. Из памяти начисто выветрилось время, три или четыре года тому назад, когда сам я, получив известие, по собственной воле намеревался проститься с этим лучшим из миров. С тех пор я был осуждён, если можно так выразиться, на пожизненное существование. Как бы то ни было, новость оказалась ложной. Мысли заняты были другим, я снова куда-то ехал. Так как движение поездов временно было прекращено, я поднялся следом за всеми по эскалатору, рассчитывая воспользоваться наземным транспортом; было зябко, пасмурно, смеркалось. Угрюмая толпа штурмовала автобус. Вновь, как навязчивый сон, как сон во сне, изнурительная езда в лабиринте тусклых улиц, по кривым ухабистым переулкам, в тряске и духоте, в испарениях мокрой оде-

жды; мелькание огней, дождь, ползущий по чёрным стеклам колышающегося экипажа. Дождь лил всё гуще, автобус остановился посреди водной глади, люди старались перепрыгнуть с подножки на тротуар. Оглянувшись, я увидел, что никого больше нет, ни автобуса, ни людей. Ливень стал утихать. Нечего удивляться, что я не сразу отыскал дом и полуразрушенный подъезд, ведь прошло столько времени, столько воды утекло; и, однако, было заметно, что ничего, в сущности, не изменилось. Единственное новшество — фонари, лунное сияние газосветных трубок. Память возвратилась ко мне. Лучше сказать, я вернулся в свою память, как в мёртвый дом. На постели лежала моя жена.

«Т-сс, — прошептал я, — только не пугайся».

Она села на постели. Я нащупал выключатель, свет зажётся над столом в оранжевом абажуре, остальное — кровать, стены, тускло отсвечивающий шкаф, циферблат часов — было погружено в полумрак.

Я принёс ей домашний халат, она накинула его на плечи поверх ночной рубашки, сунула руки в рукава, поднялась — я подвинул ей домашние туфли — и завязала поясок. Мы сидели за столом, она сказала, можно вскипятить чай, есть остатки ужина, осведомилась о багаже, я ответил, что оставил вещи в камере хранения, но тотчас поправился, сказав, что приехал налегке, она недоверчиво взглянула на меня, едва начавшийся разговор заглох. Она взглянула на часы. Я сравнил их с моими наручными часами, стоят, сказал я. Она не поняла, какие часы я имею в виду.

Я пробормотал:

«Значит, слух оказался ложным».

Моя жена рассеянно кивнула, очевидно, поняв, о чём я говорю. Она хотела подняться, я остановил её жестом. Она провела рукой по волосам.

«Ну, рассказывай».

Я ответил ей вопросительным взглядом.

«Как ты там живёшь. Обзавёлся семьёй?»

Я покачал головой.

«Очень уж ты облез, — сказала она. — Надолго приехал? Где собираешься остановиться?»

Я усмехнулся. «Знаешь что, — сказал я, — может, я сам приготовлю? Я всё найду!» — крикнул я, выходя на кухню.

Мы снова сидели друг перед другом, под абажуром, помешивая в чашках, где кружились маслянистые блики.

«Надолго, — промолвил я, пробуя с ложечки обжигающий чай, — ты спрашиваешь: долго? А как ты сама думаешь?»

«Откуда мне знать».

«Как можно спрашивать, — я дул на ложечку, — как можно спрашивать, зная о том, что со мной здесь произошло?.. Он не остывает!» — возмущённо сказал я.

«Потерпи немного. Налей в блюдце».

«Да если бы и не произошло... В этой стране нельзя жить. Я бы просто загнулся в этой стране! Вот ведь и ты...» — я осёкся.

«Слух оказался ложным», — сказала она спокойно.

«Слава Богу», — пробормотал я.

Она проговорила:

«Значит, так. Жить здесь невозможно. Всё ужасно — начиная с чая».

«Да — и кончая этим гнусным переулком, этими грязными, небранными улицами, вечной толчейей, этим всеобщим, застарелым, неизлечимым хаосом, этой вечной неустроенностью, этим наглым презрением к человеческой личности!»

«Ну вот, теперь ты можешь спокойно пить свой чай... Ты завтра уезжаешь?»

Я сидел, опустив голову.

«Ляжешь там, — она кивнула на небранную постель. — Я себе постелю на полу».

«Что ты, Катя, — сказал я испуганно, — с твоим здоровьем!»

«Как-нибудь пересплю ночь. Когда тебе надо вставать?»

«Мне? — спросил я. — Ах, ну да... Чуть было не забыл».

«Что ты бормочешь?»

«Я хотел тебе сказать, Катя...»

Свет абажура, тишина и тепло разморили меня. Слова, как обсосанная карамель, прилипли к зубам, я чувствовал, что мне трудно говорить на своём родном языке, — я уже упоминал о том, как трудно произнести вслух некоторые вещи на родном языке. Станный хохоток вырвался из моей груди, я проговорил:

«А зачем мне, собственно, рано вставать? Я хотел спросить... Может, мне остаться?»

Она подняла брови.

«Я вернулся, Катя, — сказал я. — Вернулся. Ничего не поделаешь».

Чай остыл.

ХРОНИКА О КАРТАФИЛЕ

Ego vado, et expectabis, donec veniam¹.

Выставка в Базеле оживила в моей памяти давнее увлечение. Будучи в этой области дилетантом, я прекрасно понимаю, что мои попытки прогнозировать будущее не заслуживают серьёзного обсуждения. Речь идёт, как уже сказано, об увлечении, «хобби», но разрешите мне со всей подобающей скромностью сослаться на авторитетных учёных, отдавших ему дань.

Если мы согласимся, что всякая притязающая на научность теория должна не только объяснять факты, но и уметь их предсказывать, мы должны будем потребовать от истории, чтобы она поведала нам не только о прошлом, но и о будущем. В таком случае она станет частью того, что можно назвать Общей Теорией Гадания, — и вернётся к забытому наследству, к профетическим грёзам и мрачным пророчествам позднего средневековья, о которых напоминает выставка в базельском музее.

Я вспоминаю превосходно воспроизведённый рабочий кабинет знаменитого гуманиста, философа и скептика Агриппы Неттесгеймского и его прибор, некогда породивший так много слухов. Полюбовавшись кабинетом (искусно подсвеченная фигура учёного за пультом помещалась в глубине, потолок тонул в полумраке, всё это создавало эффект таинственности), я пожелал узнать, какие источники были использованы для реконструкции хроноскопа. Мне было сказано, не без некоторого высокомерия, что чертёж этого устройства имеется в манускрипте XVI века, возможно, принадлежащем самому Агриппе. Я не мог отнимать много времени у г-на директора, да и не был уверен, что он сможет удовлетворить моё любопытство, и спросил на всякий случай: имеется ли в виду рукопись под названием

¹ Я пойду, а ты будешь ждать, пока я не вернусь (*лат.*).

«Хроника о Картафиле»? Да, сказал он, а вы откуда о ней знаете? Я заметил, что, хотя достоверность данного источника оспаривается, из него можно заключить, что прибор был по крайней мере однажды продемонстрирован и притом с ошеломляющим результатом. Ну, это уже домыслы, сказал директор, и разговор был окончен.

Мне остаётся добавить, что в моей библиотеке имеется комментированное издание этой рукописи. Очень содержательные примечания, составленные Герхардом Гюпнером, подсказали мне подробности истории, которую я предлагаю вниманию читателя. Моё предположение, что мы имеем дело в данном случае с одним из самых удивительных предвидений, пожалуй, несколько ослабляется несовпадением дат. Дело в том, что известная конференция высших партийных и государственных чинов рейха в Ванзее, — читатель поймёт, почему я о ней вспомнил, — состоялась в 1942 году. Рукопись же, если она принадлежит Агриппе, не могла быть составлена позднее 1535 г., когда знаменитый чернокнижник скончался. Однако в масштабе столетий так ли уж важно опоздание на несколько лет?

«Хроника о Картафиле» (под таким названием она значится в каталоге Майера; дословный перевод титула: «Верное и правдивое известие о некоем жестокосердном еврее Картафиле, наказанном за проступок, коему нет прощения ни в мире сём, ни на небесах») относится к обширной серии полуфольклорных сочинений о бессмертном скитальце. Многие из них остались памятником ненависти и фанатизма. Иные отмечены своеобразной поэтичностью. Любопытно, что автор «Хроники» как бы желает положить конец всем дальнейшим легендам и домыслам, утверждая, будто с тех пор Агасфер (более частое имя) больше не появлялся. В любом случае их загадочная двусмыслица вызывает недоумение. И я не могу не сказать о тяжёлом чувстве, испытанном мною при чтении этого «известия», которое передаю здесь, не пытаясь имитировать испорченную латынь подлинника — язык смутного века, потрясённого тёмными знаменьями и сомнительными успехами нового знания. Вопреки своему названию, век этот не возродил ни Афины, ни Рим.

Итак, с чего началась эта история? В один ничем не замечательный день в кабинет Агриппы вошёл неизвестный человек; хозяин принял его за нищего. Но тот отказался от подаяния, ибо пришёл с другой целью. С какой? Последовал невнятный ответ, из которого можно было только заключить, что гость выдавал себя за того, чьим именем озаглавлена рукопись.

«Чем ты это докажешь?» — спросил учёный.

«Да вот хотя бы этим...» — пробормотал странник, и оба взглянули на картину, висевшую над дверью. Агриппа придвинул лесенку, в пыльном солнечном луче, вода лупой по холсту, отыскал в толпе зевак, обступивших Лобное место, фигуру, на которую намекал гость. Сходство не вызывало сомнений.

Гм, сказал Агриппа. Он не стал выяснять, откуда, собственно, живописец мог знать, как выглядел Вечный Жид. Усевшись перед высоким пультом, он спросил себя, зачем судьба напоследок явила ему человека, о котором никто в точности не знал, существует ли он на самом деле.

Вслух он спросил: как это произошло? Как было дело. «Если, конечно, ты ещё помнишь».

«Как не помнить», — возразил старец. Оба сидели друг перед другом, гость ел варёные бобы, а за окном над гонтовыми и черепичными крышами садилось солнце. Оба думали о Городе в седловине гор, о покрытых пылью паломниках, о взбудораженной толпе. Сколько чудодеев, самозванных спасителей и бродячих пророков видели эти холмы! Прогнав прочь от своего дома ложного мессию, который просил помочь ему дотащить тяжёлый, сколоченный крест-накрест снаряд — орудие предстоящей казни, — Картафил пошёл за толпой. День был жаркий, а он и тогда уже был немолод, Три виселицы стояли на холме, оцеплённом легионерами.

После этого случилось нечто малопонятное. Картафил заблудился в городе, который знал, как свои пять пальцев. Он оказался за внешней стеной. Повернул назад, побрёл через лабиринт узких улочек вокруг Овечьего рынка, снова вышел к воротам; так повторилось несколько раз.

«И это всё? — спросил Корнелий Агриппа. — Мне кажется, ты кое-что утаил. Кое-что важное».

«Мне скрывать нечего...»

«Значит, забыл. Он должен был тебе сказать... Он ничего не сказал?»

«Он сказал: подожди. Я приду снова».

«И больше ничего?»

«И больше ничего».

«Очевидно, это позднейшие домыслы, — проговорил Агриппа, думая о своём. — Ты говоришь, что не смог вернуться домой... Значит, с тех пор ты и ходишь?»

Старик пожал плечами, развёл бронзовыми руками.

Легко было убедиться, глядя на него, сколь нелепы многочисленными, якобы достоверными сообщениями о вечном скитальце, фантастический возраст не сделал его непохожим на тысячи других стариков. Однако его явление поставило перед учёным важный вопрос. Отсутствие смерти, если вдуматься, равнозначно отсутствию рождения. Бессмертие предполагает бесконечность существования в обе стороны; не умирает лишь тот, кто никогда не рождался, другими словами, тот, кто не сотворён. Не сотворён же единый Бог. В этом, по мнению Корнелия Агриппы, заключалось слабое место в христианском учении о бессмертии души.

«Я не христианин, — заметил Картафил, словно угадал его мысли, — ваши контроверзы меня не интересуют. Ты мне только скажи. Выходит, что и я когда-нибудь помру?»

«Всё может быть. Не исключено, что Он имел в виду именно это».

«Я не понимаю!» — вскричал старец.

Агриппа усмехнулся.

«Клянусь, я не выдывал иудея, который выдавал бы своё происхождение больше, чем ты. Эта борода, эти вылупленные карие глаза. Визгливый голос... Что ж тут не понимать? — возразил он. — Тебе сказано: будешь странствовать по земле, покуда Я не приду снова».

«Всё это я уже слышал. Собственно говоря, вам бы надо сказать мне спасибо!»

«Кому это, нам?»

«Всем вам, — буркнул гость. — Всем! Тычут мне в нос: проклят, проклят... А в сущности, должны мне поклониться и сказать: спасибо. Ведь я единственный, кто Его видел. Единственный!»

«Какие у вас доказательства?» — продолжал он. — Можешь ты мне объяснить? Нет у вас никаких доказательств! Слухи, сплетни. Рассказы не заслуживающих доверия людей, да и то по большей части с чужих слов... А я живой очевидец. Можете меня гнать, можете натравливать на меня чернь, собак, сторожей. Или я уж не знаю кого... Но я единственный, кто видел Его своими глазами, — вот как тебя сейчас вижу. Единственный, кто может сказать, что Он действительно существовал — кем бы Он ни был...»

Долгая речь утомила старца, он протяжно вздохнул, опустил на грудь лысую загорелую голову, и послышалось лёгкое посапывание.

Хозяин прошёлся по комнате.

«Не обращай внимания, — вдруг произнёс Картафил, — время от времени я... теряю нить беседы, но это ничего не зна-

чит. Это бывает и с людьми моложе меня. Видишь ли, — заговорил он бодрым голосом, как ни в чём не бывало, — я страдаю бессонницей, порой не сплю месяцами. И лишь такой кратковременный отдых позволяет мне восстанавливать силы. Во всяком случае, я сохраняю над собой контроль и, надеюсь, ещё не впал в слабоумие... А иногда я вижу сны. Из-за того, что мой сон некрепок, мои сновидения необычайно яркие, так что если бы я каждый раз видел во сне одно и то же, то, пожалуй, не мог бы решить, который из двух миров существует на самом деле: мир моего бодрствования или мир видений!»

«Любопытная мысль», — отозвался Агриппа. День угас, в кабинете учёного стало сумрачно.

Он осведомился, чему всё-таки он обязан честью этого посещения.

«Вот, вот, — сказал Картафил, — я к тому и клоню. Как ты думаешь: можно доверять снам?»

«Если ты подразумеваешь то, что народное суеверие называет вещими снами, то моё мнение именно таково: это суеверие. Однако я думаю, что поэт подразумевал другое, говоря: *Quid sit futurum scias, fuge querere*»¹.

«Что же именно?»

«Он имел в виду научное предсказание будущего и... предостерегал против неосторожных прогнозов».

«Понимаю. Но мне... — и гость вздохнул. — Мне достаточно будет знать, что когда-нибудь проклятье будет снято. Я устал. Ужасно устал. Тому, кто таскает на своих ногах, словно разбитую обувь, полторы тысячи лет, не позавидуешь... Одним словом, я хочу знать, когда именно закончится моя жизнь».

Знаменитый астролог пожимает плечами, я же сказал, говорит он, в день, когда совершится Второе пришествие, если верить тому, что ты рассказываешь, — в этот день тебе будет возвращён покой».

«Да нет же...» — слышится плачущий голос в густеющих сумерках. И Вечный Жид протягивает скрюченный палец к нише, где, наполовину задёрнутый занавеской, помещается аппарат, о котором автор хроники говорит, что его необычайность не бросалась в глаза.

Ах, вот оно что. Хозяин смотрит на гостя.

«Кто бы ты ни был, — медленно произносит он, — я думаю, что тебе лучше уйти».

¹ Что завтра будет, не старайся выведать. (*Гораций, ода I, 9*).

Оба молчат.

«Тебя привела ко мне моя слава. Но обо мне ходят разные толки. Например, ты можешь услышать, что на меня набросился дьяволом в образе чёрного пса с огненными глазами и причинил мне увечье, которое несчастный Абельяр в истории своих бедствий называет жесточайшим и позорнейшим... Бедный пудель стал жертвой народного суеверия. Представляешь, они убили его палками. Они сами, если на то пошло, не лучше дьявола. Дьявол простонародья... Одним словом, Картафил, я советую тебе убраться подобру-поздорову».

Странник покачал головой, и снова наступило молчание.

«Это рискованный опыт».

Старик возразил: «Что мне терять?»

«Я тебя предупредил, — сказал Агриппа. — Это очень опасный опыт: тебе придётся стать соучастником того, что произойдёт. Только так ты сможешь увидеть будущее...» И далее было произнесено несколько замысловатых фраз касательно философских и естественнонаучных основ предстоящего эксперимента.

Изложить принцип действия хроноскопа на языке того времени, вероятно, не составило бы труда; к несчастью, этот язык не более вразумителен, чем язык хеттов или шумеров. Впрочем, кое-что можно интерпретировать с позиций оптики и стереометрии мнимых изображений. Кристалл, представляющий собой главную часть прибора, висит по обе стороны стекла, словно предмет и его отражение в зеркале, причём отражением нужно считать то, что ближе к нам. Иначе говоря, мы находимся по ту сторону зеркала: мы сами — чьё-то отражение. То, что предстаёт глазам зрителя, есть следствие физических законов, но также образ, созданный им самим, ибо «игра лучей в кристалле стала частью его внутреннего зрения». Так, судя по всему, следует понимать слова Агриппы Неттесгеймского (или того, кто был автором «Правдивого известия») о том, что всякий созерцающий стекло должен превратиться из наблюдателя в соучастника.

Между тем Агриппа всё ещё колеблется.

«Я обязан был тебя предупредить, — повторил он, не обращая внимания на протестующий жест прищельца. — Ты говоришь, тебе нечего бояться, но ты не защищён от безумия. Перед тобой нечто такое, что представляет собой отступление от мирового порядка, подобно тому, как ты сам — отступление от мирового порядка... Видишь ли, меня давно соблазняла мысль воспроизвести в опыте то,

о чём говорит Блаженный Августин: *id quo esse aut cogitari melius nihil potest*, то есть “то, лучше которого ничего не может быть и невозможно себе представить”. Имеется в виду абсолютное, субстанциональное и неизменное бытиё, и если ты вспомнишь, что такого рода бытиё он считает прерогативой Бога, то поймёшь, сколь опасно было моё предприятие».

Он продолжал:

«Абсолютное бытиё есть не что иное, как вечность, актуализованная в настоящем, другими словами — вечно длящееся настоящее. Ты следишь за моей мыслью? В рамках такого бытия не существует событий, которые безостановочно проваливаются в яму прошлого. Событиям возвращён их первоначальный смысл; вдумайся в это слово: *со-бытие*, нечто сосуществующее, а не мимолётное. Я иду, — сказал Агриппа, — путём, противоположным тому, которым следует большинство философов и богословов. Как и они, я отправляюсь от общих истин, как и они, исхожу из теории; ибо это царский путь всякого познания. Но они используют умозаключения для доказательства бытия Божия, например, ссылаются, вслед за Ансельмом, на необходимость совершенного бытия, чтобы умозаключить, что абсолютное, неразрушимое, не исчезающее в воронке времён и не рождающееся из ничего бытиё есть такая же несомненная реальность, как реальны мы с тобой... Как человек науки я исхожу из убеждения, что всё, что реально существует, в принципе может быть воспроизведено. Но! Внимание, Картафил, я возвращаюсь к тому, с чего начал. Создав модель такого бытия, я столкнулся с чудовищным казусом. Явление, о котором я говорю, несомненно, будет оценено, когда теология из чисто умозрительной дисциплины превратится в экспериментальную науку. Однако в моих собственных опытах оно поставило меня на грань опасности, перед которой бледнеют все ужасы наших дней».

«Итак, не буду тебя пугать, хотя вряд ли что-нибудь способно внушить тебе страх, — скажу прямо: моя лабораторная вечность, воссозданная в этом кристалле, едва только я успел её актуализовать, начала продуцировать собственное время!..»

Он умолк. Дед моргал, не спуская глаз с чародея и, очевидно, сиюсь понять, что означает вся эта чертовщина.

«Позже, листая *Confessiones*, поистине бессмертную книгу, я нашёл объяснение. Августин задаётся вопросом, почему Бог не сотворил мир раньше, чем содеял это на самом деле. Его ответ так же прост, как и неожидан. Потому что для божественной бытия нет

понятий “раньше” или “позже”: абсолютное бытие существует вне времени. Но далее он пишет, что невозможно представить себе, чтобы Творец предшествовал времени, ибо это означало бы, что и он соотносится с временем, иначе говоря, подчинён времени. Что же из этого следует, как не то, что Творец по необходимости создал наш временный мир, что он, ежели на то пошло, был обречён исторгнуть из себя этот мир, сущий во времени? В противном случае Бог существовал бы до мира, а это противоречит исходной посылке — его пребыванию не “до” и не “после” переходящего времени. Другими словами, абсолютное и неизменяемое бытие не может не породить время. Диву даюсь, как я мог упустить это из виду!»

Светлый пар поднимается от стекла. Кристалл растёт и постепенно растворяется в воздухе.

«Я ничего не вижу...» — лепечет гость.

«Терпение. Сосредоточься».

«Но я в самом деле ничего не вижу. Я уже и кристалл не вижу».

«Это потому, что ты внутри кристалла».

Когда несколько времени спустя Корнелий Агриппа окликнул гостя, ответа не было. Старик сидел в глубокой задумчивости, расставив ноги в разрушенных сандалиях, глядя в пол.

«Ты спишь? Картафил!»

«Нет, не сплю, — был ответ. — Я вспоминаю. Вернее, стараюсь припомнить, о чём я вспоминал».

«Видишь ли ты кристалл?»

Странник поднял голову.

«Ещё один?» — спросил он.

«Да. Сейчас они совместятся... Внимание. Только не пытайся встать. Дай глазам привыкнуть к слабому свету. Смотри в одну точку. Теперь осторожно перемещай взгляд, не отходя далеко от точки. Перемещай взгляд кругами...»

Прошло ещё сколько-то времени, хотя не следует забывать, что смысл подобных выражений был уже не одинаков для экспериментатора и для гостя. Со стариком творилось что-то странное, он разинул беззубый рот, глаза, устремлённые в пустоту, вылезли из орбит. Он подался вперёд, закачался и запел, залопотал по-арамейски. И Агриппа понял, что опыт не удался. Перед ним был старый безумец, один на один со своими галлюцинациями; незачем было предостерегать его, он давно потерял рассудок.

«Ну что, — осторожно спросил Агриппа, подождав, пока прибор остынет, а гость придёт в себя, — как ты себя чувствуешь?»

Дед растерянно смотрел на него. «Причём тут я», — пробормотал он.

«Я спрашиваю, как ты перенёс опыт».

«Это был Он», — быстро сказал Вечный Жид.

«Что?»

«Это... был Он».

Агриппа нахмурился.

«Ты хочешь сказать...?»

«Да, — промолвил Картафил, — я именно это хочу сказать».

«Ты Его узнал? Ты в самом деле Его увидел?»

«Как тебя сейчас вижу».

«Вот оно что. Значит, Он выполнил своё обещание», — задумчиво проговорил Агриппа.

«Хуже! — простонал старик, и глаза его наполнились слезами. — Гораздо хуже!»

Учёный провёл рукой по лицу, попросил гостя успокоиться, рассказать всё по порядку.

«Не могу! Я им хотел объяснить, но они меня не слушали».

«Кто — они?»

Старик тряс бородой и ничего не мог ответить.

«Картафил, — мягко сказал Агриппа. — Даже если это было дурное видение, а я склонен думать, что это так, ты ведь сам говоришь, что не всегда можешь отличить сон от яви... так вот, даже если это сон, расскажи мне...»

«Они все думали, что их ведут в баню, — сказал старик. — Я им говорил: посмотрите наверх, видите эту трубу? Видите дым?.. Вас всех сожгут, вам осталось жить несколько минут! Но они меня не слушали».

«Ты говорил на древнем языке, они не поняли».

«Старики знают арамейский. Но они не хотели понять. Не хотели слушать. Они думали, что с ними поступают как с людьми».

Чародей молча похлопывал себя по колену, оба сидели в полутьме друг против друга и думали — каждый о своём.

«Когда это будет?» — спросил гость.

«О, — сказал, очнувшись, Агриппа, — это всего лишь будущее. Оно наступит нескоро».

«Когда?»

«Не всё ли равно...»

«Когда?» — вскричал странник.

Агриппа встал, зажёл свечу и развернул огромную книгу, это были чертежи и таблицы.

«Минутку, — пробормотал он, воткнул циркуль и провёл круг. Это будет... да. Потерпи ещё четыре века, Картафил. Тогда закончатся твои скитания... Послушай, — сказал Агриппа, который испытывал тяжёлое недоумение, так как понимал, что легче предположить помрачение ума в любом из нас, нежели допустить безумие мира, куда мы заброшены. Ведь это значило бы признать сумасшедшим самого Творца.

«Послушай... Видит Бог, я хотел бы оказаться обманщиком. Но допустим, что ты прав и то, что увидел, не было порождением расстроенного ума. Выходит, всё сбудется! Он же тебе говорил — жди Меня, Я приду во второй раз. И Он пришёл! Скажи мне только одно: ты не ошибся? Ты действительно Его узнал? Ведь прошло столько лет с тех пор, как ты Его видел. Как Он выглядел?»

«Так же, как в Иерусалиме».

«И что Он сказал?»

«Ничего не сказал. Он шёл вместе со всеми».

«Куда?»

«Хм, куда... Туда же, куда все. В печь, или как там она у вас называется».

«Почему у нас, причём тут мы. В какую печь, что ты несёшь?»

«В огненную печь»

«Зачем?»

«Как это — зачем. Чтобы сгореть!»

«Этого не может быть», — сказал Агриппа.

«Почему?» — спокойно возразил гость.

«Потому что, в отличие от тебя, он бессмертен. Он сошёл с небес. Он Сын Божий! — закричал Корнелий Агриппа. — Можете ли вы это, наконец, понять?»

«Он сын нашего народа, — сказал Картафил. — И я своими глазами видел, как Он шёл вместе со всеми в дом смерти».

«И не сопротивлялся?»

«Никто не сопротивлялся».

«И... никто не пал перед Ним на колени?»

«Кто же это должен был пасть?»

«Стражники, солдаты!?»

«Ха. Я думаю, — сказал Картафил, — им было не до этого».

Стиснув руки, Агриппа качал головой, промолвил:

«Нет, ты не в своём уме. Ты не понимаешь, что ты говоришь!»

Старец сказал:

«Что тут ещё понимать? Я хотел получить ответ и узнал ответ. Спасибо».

«Не о том речь. Я объясню...» Вместо этого чародей погрузился в раздумье, и чем больше он думал, тем ясней сознавал непоправимость своих мыслей. Никто не мог понять, что означало пророчество, думал он. Ни этот дед, ни его соплеменники. А оно могло означать только одно. Я буду жить, покуда ты жив. До тех пор, пока ты топчешь землю, пока ты и вы все живы и свидетельствуете обо Мне, буду жив и Я. Ради этого вам подарено будет бессмертие... на какое-то время.

Да, размышлял Агриппа, ибо считал своим долгом додумывать всё до конца. Пророчество не могло означать ничего другого, как признания роковой связи. Проклятье тебе и всему вашему племени, но когда вы уйдёте, уйду вместе с вами и Я... Вас будут гнать ради торжества веры, нашей веры, потому что вы для неё вечный упрёк, но когда дело дойдёт до последней черты, когда вас, наконец, истребят за то, что вы отступили от Меня, всех истребят, старых и молодых, учёных и неучей, и древних старух, и калек, и младенцев, когда вы станете столбом дыма и чёрным прахом покроете землю, — тогда рухнет и обратится в прах наша святая вера. Вместе с вами, с тобой, презренный Агасфер, сожгут и Меня. И больше Я уже не воскресну. Я больше не вернусь! Вот что означало пророчество. Боже, думал Агриппа, какое счастье, что это будет нескоро.

Вслух он сказал:

«Я понимаю, это может случиться с каждым: ты стар. Твоё зрение ослабело. Ты был слишком потрясён увиденным... Каждый может ошибиться».

«Как это, ошибиться», — буркнул старец.

«Очень просто. Видишь ли, — продолжал Агриппа, — то, чего не может быть, никогда не бывает. Говорю это тебе как человек науки. Этого не может быть».

«Ты так думаешь?»

«Я в этом уверен».

«Я засиделся, — сказал Картафил. — У меня к тебе ещё одна просьба. Последняя, и я покину твой дом».

Вздыхнув, Корнелий Агриппа поднялся, задул свечу и подошел к зеркалу. Прошло много времени — как показалось пришельцу, — прежде чем кристалл ожил, начал расти. Облако светлого пара поднялось от стекла, на этот раз пар был непроницаем, он становился всё гуще — не пар, а дым. Вся комната наполнилась едким дымом. Острый запах заставил учёного отвернуться, это был запах обугленных костей. Когда дым рассеялся, в келье никого не было. Вечный Жид не вернулся, он исчез навсегда, и прорицатель подумал, что должен был это предвидеть.

СОДЕРЖАНИЕ

Нас венчали не в церкви: Алла Горбачёва	7
Прибытие	22
16 января 192*	31
Помни о будущем, забудь прошедшее.....	37
Alma mater.....	57
Из вещества того же	68
Паломничество за огненную реку.....	73
Διάλογοι.....	80
Мёртвое десятилетие.....	91
Ночь Рима	94
Беглец и Гамаюн	96
Возвращение.....	122
Хроника о Картафиле.....	196

Борис Хазанов
В САДАХ ЗА ОГНЕННОЙ РЕКОЙ



Главный редактор издательства *И. А. Савкин*

Дизайн обложки *И. Н. Граве*

Оригинал-макет *Б. Н. Марковский*

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.

Издательство «Алетейя»,

192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.

Тел./факс: (812) 560-89-47

Редакция издательства «Алетейя»:

СПб, 9-ая Советская, д. 4, офис 304,

тел. (812) 577-48-72, aletheia92@mail.ru

Отдел продаж: fempro@yandex.ru, тел. (921) 951-98-99

www.aletheia.spb.ru

*Книги издательства «Алетейя» можно приобрести
в Москве:*

«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. www.biblio-globus.ru

Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83

Магазин «Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2.

Тел. (495) 915-27-97

Магазин «Фаланстер», Малый Гнездниковский пер., 12/27.

Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21

Магазин «Циолковский», ул. Б. Молчановка, 18. Тел. (495) 691-51-16

в Киеве:

«Книжный бум», книжный рынок «Петровка», ряд 62, место 8.

Тел. +38 067 273-50-10, gron1111@mail.ru

в Минске:

«Экономпресс», ул. Толбухина, 11. Тел. +37 529 685-70-44, shop@literature.by

в Варшаве:

«Centrum Nauczania Języka Rosyjskiego»,

ul. Ptasia 4. Тел. (22) 826-17-36, szkola@jezykrosyjski.com.pl

Интернет-магазин: www.ozon.ru

Печать цифровая. Заказ № 28002_065. Отпечатано в типографии
ООО "Супервэйв Групп". 193149, РФ, Ленинградская область,
Всеволожский район, пос. Красная Заря, д.15.



Борис Хазанов (псевдоним Г.М.Файбусовича), родился в Ленинграде, вырос в Москве. Учился в Московском университете, на последнем курсе филологического факультета был арестован, получил 8 лет по обвинению в антисоветской агитации, отбывал наказание в Унженском исправительно-трудовом лагере. Позднее окончил медицинский институт, работал врачом, кандидат медицинских наук. В связи с участием в Самиздате был вынужден покинуть Советский Союз и поселился в Германии. Автор романов, рассказов, эссеистических произведений. Многократно переводился на европейские языки, публиковался в России и за границей.

Премия «Литература в изгнании» (Гейдельберг), несколько премий Международного ПЕН-клуба, «Русская премия» (Москва), премия имени Марка Алданова (Нью-Йорк), шорт-лист премий «Русский Букер» и «Большая книга». Живет в Мюнхене.

В издательстве «Алетейя» вышли в свет книги:

Истинная история минувших времен.

К северу от будущего. Романы и повести

Третье время. Романы и повести

После нас потоп. Романы и повести

Вчерашняя вечность. Повести и рассказы

Опровержение Чёрного павлина. Романы, повести, эссе

Миф Россия. Статьи и эссе

Подвиг Искариота. Рассказы, статьи, письма

В лучах чужих планет. Рассказы, статьи, переводы

...Пиши, мой друг. Переписка с Марком Харитоновым» (2 тт.)

Элизиум теней.

Пусть ночь придет. Повести о женщинах

Человек-перо. Писатели и литература

Письма из прекрасного далёка.